

Возвращение

Профессор Ирмияу (Герман) Брановер

Беэр-Шева, 5737 год



Прежде всего, надо сказать благосклонному читателю, что ко многому обязывающее название «книга» вряд ли вполне применимо к предлагаемым его вниманию страницам, которые помещены выше и озаглавлены «Из глубин». Скорее — это полусырые наброски, разговор с самим собой, и надо было бы затратить еще много труда и времени, чтобы действительно получилась книга. Я вынашивал эти наброски долгие годы, живя в Советской России, в Риге. Будучи совершенно невежественным в еврейской философии, истории и религии, я, однако, испытывал неутолимую потребность найти свое мировоззрение, которое возможно полнее и гармоничнее сочетало бы взгляды на природу и людей вообще с объяснением исключительности моего многострадального народа, его места и его миссии в этом мире.

Первоначально у меня совершенно не было намерений дать кому-либо почитать мои наброски, а о счастливой возможности переправить рукопись за пределы Советского Союза я и мечтать не смел. Однако неожиданно такая возможность стала реальной, и я подумал, что, вероятно, есть еще другие люди, мучающиеся сомнениями и занятые поисками, подобно мне, и что написанное мною может им помочь. Тогда я дописал то, что фигурирует выше как «Вместо предисловия» и воспользовался представившимся случаем.

У меня было впоследствии по этому поводу много неприятностей с советскими властями, однако рукопись попала в Священную землю, опередив меня самого на много лет. В Израиле рукопись была переведена на иврит и вышла в свет под названием «Из глубин».

Самый главный вывод, к которому меня привели мои поиски, состоит в том, что в наше время, точно так же, как и во все предшествующие эпохи, необходимо и неизбежно возвращение евреев к вечным и неизменным заветам Торы.

Поскольку ремесло мое — естественные науки и поскольку я с детства воспитывался на началах рационального мышления, вполне естественно, что я уделил наибольшее внимание философскому анализу естественно-научных методов и результатов. Было бы совершенно неверным сказать, что наука привела меня к вере. Однако бесспорно, что мой анализ помог мне выяснить пределы и ограничения рационального мышления и побороть скептицизм. Кстати, одно из достоинств современной науки и состоит, по-моему, в том, что в отличие от положения, имевшего место 100-150 лет тому назад, пределы возможностей науки, а также условность и приблизительность ее суждений видны четко и ясно.

Вероятно, многие согласятся ныне с утверждением, что единственный вид достоверных и поддающихся строгому доказательству заключений рационального мышления связан с определением границ и принципиальных возможностей самого этого мышления. Таким образом, нелепо утверждать, что рациональные науки приводят к иррациональному — вере. Но в той же мере бессмысленно считать, что науки могут отрицать веру. Последнее утверждение, однако, делалось многократно на протяжении последних столетий. В еврейской среде первыми проводниками этих воззрений были «маскилим», затем еврейские социалисты разных толков, а ныне масса вообще утратила вкус к мировоззренческому анализу, к наукам или философии, но усвоила, однако, удобную формулу, выражающую отношение к Б-гу, Торе, заповедям. И гласит эта зазубренная формула так: «В наше время это невозможно».

В свете сказанного ясно, что святой долг еврейского ученого, озабоченного тем трагическим духовным положением, в котором оказался его народ, тем упадком во всех сферах жизни, чему свидетелями мы, увь, являемся в последнее время, неустанно разъяснять абсурдность мнения о том, что наше время особенное, что от проникновения в быт и промышленность усовершенствованных машин изменились свойства души или человеческие желания и стремления, достоинства и пороки.

Конечно, тот, кто поймет ложность этих утверждений, еще, отнюдь, не вернется моментально и автоматически к вере и еврейскому образу жизни, но, по крайней мере, будет ликвидировано одно из главных препятствий, и человек честный, в котором не заглух голос совести и долга, ощутит, что нет оправдания тому, что он ведет себя в жизни не так, как его дед или прадед. Исчезнет тот надуманный предлог («в наше время это невозможно»), которым оправдываются, разрывая безжалостно цепь вековой традиции, обнажая нежные души собственных детей перед натиском чуждых пороков и обрекая народ на забвение своей миссии, ассимиляцию и гибель.

Итак, чтобы строить или восстанавливать разрушенное, надо сперва как следует расчистить место.

Вера рождается в душе человека спонтанно. У каждого человека бывают в жизни мгновения, когда он ощущает присутствие Творца, Его власть над собою и непроизвольно и естественно молится Ему, но для того, чтобы вера стала прочной, постоянной, осознанной, надо освободить душу от оков предвзятости, насилия общественного мнения, самообмана; надо оплодотворить ее глубоким изучением Торы и насытить исполнением заповедей.

Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы мои наброски сочли апологией веры. К чему я стремился — это показать, что вера ни в какой апологии не нуждается, что она так же естественна, как необходимость есть, пить, дышать, а оправдываться и объясняться должны те, которые, играя на самомнении, лени, равнодушии и ограниченности людей, сманивают их на дорогу атеизма и нигилизма, ведущую к полной духовной и нравственной деградации, а также те, которые с легкостью поддаются этим пагубным влияниям.

На этом можно было бы закончить мои пояснения, однако из опыта, который я приобрел за время своего трехлетнего пребывания в Израиле, а также во время визитов в Европу и Америку.

Я знаю, что большинство тех, кто прочтет мои записки, скажет, что мое увлечение Торой — это не более, чем нечто вроде интеллигентского хобби, но никак не основа жизни. Сотни раз после лекций о Торе в эпоху технологии и т.п., которые я читал в разных странах широкой публике, еврейским студентам, школьникам или профессорам, кто-нибудь обязательно спрашивал меня: «Неужели вы действительно ежедневно надеваете тфиллин, молитесь, а ваша жена варит кошерную пищу и зажигает субботние свечи? Неужели вы действительно верите, что эти архаичные обряды все еще имеют какой-то

смысл? Это в наше-то время! Уж не думаете ли вы, что от их исполнения или неисполнения может измениться ход событий в двадцатом космическом веке?!»

Поначалу эти вопросы бесили меня. Эти люди склонны были благожелательно относиться к иудаизму, пока он остается для них красивой теорией наряду со многими модными «измами», но представить себе иудаизм вплетенным в их собственную жизнь, предъявляющим к ним какие-то требования они во многих случаях не хотят и не могут.

Однако были среди моих слушателей и такие, которые хотели честно и непредубежденно разобраться во всем, и они настойчиво требовали: «Расскажите, как вы дошли до этого!» — ибо для них жизненная история убедительней, чем любые теоретические доводы и абстрактные доказательства.

Вот поэтому-то я и сопровождаю сейчас мои философские записки описанием своей жизни, показывающим, как и почему я «дошел до этого».

По первоначальному замыслу это описание должно было быть совсем кратким, но на самом деле оно очень растянулось и стало длиннее того, к чему должно было служить послесловием. Честно говоря, это не очень приятное занятие — рассказывать о своей жизни. Естественно поэтому, что я старался сократить, насколько было возможно, описание всего личного, семейного, житейских событий и сосредоточиться на поисках пути, приведшего меня к еврейству, к вере, к Торе. И все же для того, чтобы ответить на вопрос, как я «дошел до этого», мне придется касаться и личного, за что заранее прошу у читателя извинения.

Мое детство было очень благополучным. Я помню себя лет с трех, и эти воспоминания — самые идиллические. Мы жили в Риге, столице Латвии. Эта маленькая страна была независимой в период между Первой и Второй мировыми войнами. Дом, в котором мы жили, стоял на тихой улочке, расположенной между двумя старинными парками. Здесь всегда царила тишина, лишь изредка нарушаемая стуком копыт и тархтеньем извозничьего фазтона по булыжной мостовой, а во дворе дома часто слышались звуки скрипки нищего музыканта или крики старьевщика, собирающего тряпье.

Наша квартира была на третьем этаже в большом доходном доме, принадлежавшем моему деду со стороны матери — известному в то время в Риге детскому врачу Илье Михлину.

По утрам мои старшие брат и сестра убегали в ивритскую гимназию, и я оставался с матерью, хлопотавшей по дому. Потом она водила меня гулять в

парк; на обратном пути делала покупки и, вернувшись домой, разжигала большую дровяную плиту и принималась готовить обед, а я путался под ногами, изводя мать нескончаемым потоком вопросов.

Я был очень хилым и невероятно застенчивым ребенком, настоящим «маменькиным сынком». Я избегал товарищей и шумных детских игр, но обожал книги, заставляя мать часами читать мне вслух.

Позже, когда мне пошел уже пятый год, я начал читать сам. Я читал по-русски, ибо родители мои кончили русскую гимназию и говорили у нас в доме только по-русски. Многие из детских книг, которые я читал, были изданы в Москве или Ленинграде, и через них я впервые познакомился со словами Ленин, Сталин, Красная Армия, хотя, что кроется за этими словами, мне не очень было понятно.

Каждый четверг приезжал домой отец. Он был агрономом и заведовал сельскохозяйственной школой, в которой обучались еврейские юноши и девушки, готовившиеся эмигрировать в Палестину.

Школа эта была организована по образцу киббуца и находилась на ферме в пятидесяти километрах к востоку от Риги.

Отец находился там большую часть времени и приезжал в город лишь в четверг и оставался до воскресенья. Он был влюблен в свою профессию, энциклопедически образован в биологии, ботанике, зоологии, агротехнике. Он постоянно был увлечен экспериментами по селекции, выведению новых сортов растений. Он был также не чужд многих других областей естественных наук, а палеонтология и археология особенно волновали его.

Когда мне было лет пять или шесть, он начал приобщать меня к кругу его интересов. Я обожал его рассказы о растительном и животном царствах. Он часами читал мне вслух Брэма. Вместе мы завели аквариум, собирали коллекции жуков и бабочек, разводили кактусы.

Сестра, которая на четыре года старше меня, также любила животных, и вместе мы приобрели комнатную собачку.

Отец хорошо рисовал, знал многие ремесла, и в перерывах между нашими естественно-научными занятиями он пытался, хотя и безуспешно, научить меня рисовать, а также мастерил всевозможные поделки из картона, бумаги, фанеры. Марионетки и всяческие самодельные фокусы приносили ему определенно не меньше радости, чем нам, детям.

Замечу, что отец был необыкновенно тихим и застенчивым человеком. Я никогда не слышал, чтобы он повысил голос. Он болезненно не переносил бранных слов, и даже такие выражения, как «дурак» или «черт», подавляли его.

Настоящее раздолье начиналось для нас летом, когда мы всей семьей переезжали на ферму. Она располагалась в одном из живописнейших уголков Латвии, неподалеку от городка Сигулда. Из-за холмистого ландшафта, богатых девственных лесов, укрывающих множество маленьких озер и прозрачных речек, эту местность часто именуют лифляндской Швейцарией.

Почва здесь не очень плодородна и трудна для обработки, но леса полны всевозможных ягод и грибов.

Перекрытый частыми дождями воздух постоянно напоен густыми ароматами диких трав и цветов, а нежаркое северное солнце окрашивает все вокруг в пастельные, располагающие к покою и мечтательности тона.

Здесь у нас с сестрой уже было несколько собак, свои «опытные» грядки в огороде, свои уголки в теплицах и парниках. Две прирученные козы постоянно и неотступно сопровождали нас.

В доме жили пойманные в лесах и полях ежи, зайцы, полевые мыши, ящерицы, а часто и ядовитые змеи-гадюки, которых содержали в бутылках с перевязанными марлей горлышками.

Здесь всегда звучала ивритская речь, т. к. молодежь, именовавшая себя халуцами, готовясь к переезду в Палестину, изучала не только сельское хозяйство, но и язык.

Не помню, однако, чтобы иврит, который с семилетнего возраста я и сам начал изучать в школе, как и все еврейское, вызывал бы у меня какой-либо заметный интерес или пробуждал какие-то чувства.

Конечно, я знал, что мы евреи и чем-то отличаемся от других. Школа наша называлась городской жидовской школой, поскольку латышские власти узаконили в своем языке термин «жид» вместо «еврей».

У нас в школе устраивались самодеятельные представления на Хануку и Пурим, и нам рассказывали о Хасмонеях, Ахашвероше, Эстер.

Пасхальный седер наша семья проводила всегда в доме деда — доктора Михлина, который, хотя и не соблюдал повседневных законов еврейской жизни, старался отмечать по правилам большинство годовых еврейских праздников.

Он часто ходил в синагогу по субботам и старался брать меня с собою.

Таким образом, у меня были некоторые, хотя и разрозненные представления об еврейской истории и праздниках. Я слышал, что мальчикам в тринадцать лет устраивают церемонию, называемую «бар-мицва», знал, что евреи когда-то вышли из Египта, что были у них сильные короли Давид и Соломон и т.д. Но о большинстве еврейских законов я не имел ни малейшего понятия. Так, например, я никогда не слышал о филиakterиях или о празднике Шавуот, который в пол у ассимилированных еврейских кругах почему-то считался второстепенным.

Иногда я слышал, как взрослые говорили о ком-то, кого называли Дубин или ласкательно Дубинке. Из этих разговоров явствовало, что этот человек очень влиятелен, близок к президенту республики и что он помогает евреям во всяких трудных житейских делах, одновременно наставляя их, убеждая соблюдать какие-то особые еврейские правила поведения. В частности, он особенно настойчиво просил женщин посещать какое-то специальное заведение, называемое «микве».

Кое-что слышал я и о сионистских партиях. Но все это, в основном, преломлялось через образ брата, который на десять лет старше меня. Он увлекался спортом: гимнастикой, плаванием и велосипедной ездой. Иногда он приходил домой с разбитым лицом, причем это бывало либо результатом ночных стычек с латышами или немцами, либо последствием сражений между какими-то группами, носившими малопонятные для меня названия, вроде: «Бейтар», «а-Шомер а-цаир» и другие.

С 1939 года наше безоблачное и размеренное существование стало омрачаться тревогами. Первого сентября началась война, которой суждено было стать Второй мировой войной и одной из страшнейших исторических катастроф для еврейства.

Еще несколькими годами раньше появились в Риге еврейские эмигранты из Германии. Они стучались в двери еврейских домов и, перепуганные и усталые, просили о помощи на картавом немецком языке. Они привносили в атмосферу самодовольства и уюта местного еврейства смутную тревогу и настойчивое предостережение и потому вызывали не столько сострадание, сколько недоверие и раздражение.

Жизнь еврейского среднего сословия нисколько не изменилась. Каждый был занят заботами своего «дела» или службы. По вечерам сидели в кафе или собирались в дружеской компании у кого-либо дома и играли в карты.

Но и тогда, когда запылала Польша, для нас война психологически все еще была далеко. Я помню, что в день объявления войны мы были на ферме. Халуцим были возбуждены и веселы. С вилами и лопатами на плечах они долго и увлеченно изображали какую-то военную пантомиму.

Начались бесконечные обсуждения и споры о будущем Прибалтики. Гадали главным образом о том, кто оккупирует Латвию — русские или немцы.

Те, у кого было какое-то имущество и кто помнил немецкую оккупацию по Первой мировой войне, предпочитали (как, например, мой дед) немцев. Другие жаждали прихода русских, в частности, назло латвийскому правительству, которое становилось все более прогерманским и антисемитским.

Мой отец считался почему-то левым, хотя, вероятно, он был совершенно аполитичен. Однако рассказы о расцвете наук и широких возможностях, предоставляемых евреям в Советской России, несомненно, делали эту страну привлекательной для него, несмотря даже на то, что два его брата в Москве были в 1937 году отправлены в концентрационные лагеря по обвинению в «измене родине». Хотя он прекрасно знал немецкий, русский язык и культура были ему ближе. В результате, он, по-видимому, предпочитал приход русских.

В одну из июньских ночей 1940 года русские войска заняли Прибалтику. Танки шли с открытыми люками, и на броне сидели солдаты в пилотках или остроконечных «буденовских» шлемах. Толпы людей с цветами и красными флагами встречали Красную Армию.

Если не большинство, то большую часть встречавших составляли евреи. Латыши смотрели на этих евреев с удвоенной ненавистью.

Президент Латвии Ульманис обратился по радио к народу, уверяя, что он остается на посту, и призывая к спокойствию. Это было последним в его жизни выступлением.

Поначалу почти ничего не изменилось. В город нахлынули советские армейские командиры, привезшие также свои семьи. Командирские жены бешено атаковали магазины, которые все еще были полны товаров. Вскоре, однако, появились очереди за продуктами — явление, совершенно нам незнакомое и потому вызывавшее скорее удивление, нежели раздражение.

Начались и более основательные изменения. Ферма, на которой работал отец, была преобразована из подготовительного киббуца в обычную сельскохозяйственную школу для местного населения. Отец, однако, остался в прежней должности.

Школа, где мы, дети, учились, тоже, конечно, была превращена из ивритской гимназии в русскую среднюю школу, хотя ученики и даже часть учителей остались прежними.

Новые порядки, лозунги, песни пришлись нам, детям, очень по вкусу. Я стал октябренок, сестра — пионеркой, брат — комсомольцем. Мы возбужденно распевали «Широка страна моя родная», «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», «Все выше, и выше, и выше...» и другие песни. Несколько позже и я стал пионером и торжественно присягнул, что «буду честно и неуклонно бороться за дело Ленина-Сталина и за победу коммунизма во всем мире».

Появились новые популярные книги о происхождении мира, об эволюционной теории, научно-фантастические романы о межпланетных полетах, о сверхразумных существах на Луне и на Марсе.

Теория Дарвина настолько овладела моим воображением, что я с помощью отца подготовил двухчасовой доклад и начал надоедать учительнице, чтобы она позволила мне выступить с этим докладом перед соучениками. Я мечтал положить тем самым начало кружку юных дарвинистов или, в крайнем случае, юных мичуринцев. Учительница долго колебалась — ведь мне было тогда девять лет, и учился я во втором классе. Я был так назойлив, что, в конце концов, она сдалась. Весь класс оставили после уроков, и я приступил. Разочарование мое было очень глубоким, когда после первой четверти часа выяснилось, что большинство слушателей либо дремлет либо мастерит бумажные самолетики, либо упорно и сосредоточенно ковыряет в носках. После получаса положение стало и вовсе критическим, — учительница вмешалась, и я, безжалостно исковеркав и скомкав так тщательно подготовленный доклад, закончил чтение в три четверти часа. Вопросов тоже, увы, не было, если не считать нескольких, заданных терпеливой и всегда очень ласковой ко мне учительницей.

В начале 1941 года советская власть начала экспроприировать недвижимое имущество, и мой дед лишился всего, что накопил за время своей очень интенсивной, почти полувековой врачебной практики.

Помню, что, глядя на мрачное лицо деда, я в глубине души осуждал его как бывшего буржуя и как человека, недовольного советской властью. Мой конфликт с дедом особенно обострился на Песах, когда он на следующее утро после седера пытался убедить меня не идти в школу.

В школу я, конечно, пошел, и к тому же сердобольная бабушка снабдила меня несколькими сдобными булочками, ибо я — пионер — не мог и подумать о том, чтобы взять мацу в школу на завтрак.

Вечером дед все-таки затащил меня в синагогу, но на обратном пути я затеял жестокий спор, доказывая вздорность религии с позиций теории происхождения видов Дарвина.

22 июня война докатилась и до нас. Мы находились в это время на ферме. Через день-два после начала войны стало очевидным, что немцы движутся вперед так быстро, что, быть может, всего через неделю они будут у нас.

Отец считал необходимым непременно бежать в глубь России, но его удерживало отсутствие советского паспорта. Дело в том, что он происходил из Бессарабии, принадлежавшей в свое время Румынии, и потому к моменту прихода Советов в Прибалтику он был не латвийским, а румынским подданным. Латвийские подданные автоматически становились советскими гражданами, а отцу целый год упорно отказывали. Не помогла и его прежняя репутация «левонастроенного».

Теперь, когда началась война, он почему-то внушил себе, что без советского паспорта нас не пропустят через бывшую советско-латвийскую границу. На третий или четвертый день войны он поехал в Ригу, кинулся во всевозможные учреждения, но всюду царила паника, неразбериха и опустение. Подавленный и растерянный он вернулся на ферму. В городе отец виделся с моим дедом, который сказал твердо, что никуда не поедет.

Старший брат тоже находился в Риге и вступил в комсомольское военное ополчение.

Как-то мы поймали радиопередачу из литовского города Шаули, который был уже оккупирован немцами. Диктор читал по-немецки распоряжения новых властей, касающиеся евреев. От Шаули до нас было километров сто сорок, и ждать дольше было безумием, хотя отец, водя пальцем по карте, все еще высказывал надежду, что река Двина может надолго задержать немцев.

Через день было окончательно решено погрузить на подводу самые необходимые вещи и отправиться по направлению на Псков. Была даже выбрана лошадь — старая, с бельмом на одном глазу, но необычайно выносливая и преданная, по кличке «Майга».

В каких-нибудь ста метрах от главного строения фермы, в котором мы жили, проходила широкая грунтовая дорога. Вот уже вторые сутки по ней непрерывно двигались советские войска. Они шли с запада на восток пешком, на автомобилях, на лошадях. Иногда проходили подразделения, которыми кто-то командовал, и в них соблюдалось подобие порядка; но бывали часы, когда ободранные и часто безоружные солдаты двигались в виде беспорядочной толпы. Время от времени налетали немецкие самолеты, и солдаты разбегались по полям, ища убежища в канавах, за кустами и кочками.

Родители укладывались в дорогу, а я стоял у окна на веранде и наблюдал за медленно проплывавшей на восток лавиной солдат. Вдруг послышался гул приближающихся самолетов. В это время мимо нас проезжала колонна грузовиков. Машины остановились, солдаты стали спрыгивать и рассыпаться по полям. Начинало уже темнеть, и я заметил, как из винтовки одного из прыгающих с грузовика солдат вырвалось пламя. Начался переполох, а через несколько минут к нашему дому уже приближалось сжимающееся полукольцо солдат с винтовками наперевес.

Я позвал родителей, и отец, увидев, что происходит, велел всем лечь на пол на случай, если солдаты начнут стрелять, и через окна пули проникнут в комнату. Мы лежали на полу, прислушиваясь к приближающемуся солдатскому топоту. Нам было известно о том, что в городах латыши стреляют с крыш и из окон в отступающих русских, и потому было нетрудно догадаться, что сейчас они приняли неосторожный выстрел своего же солдата за нападение с фермы.

Вскоре сапоги застучали по дощатому крыльцу, дверь распахнулась и раздался крик: «Кто здесь? Ни с места!» Оставаясь на полу, мы отвечали: «Свои, здесь свои!» Нас вывели на двор. Туда же привели всех латышей — студентов школы. Мужчин отделили и начали выяснять, «кто тут старший». Отец назвал себя. Всех мужчин увели. Уходя, отец крикнул матери: «Бери детей и уезжай!» Солдат ударил его в спину и закричал: «Вот еще! Переговариваться вздумал».

На следующий день вернулись все латыши. На все настойчивые расспросы о нашем отце они уклончиво отвечали лишь, что всех привезли в ближайший городок, после чего отца отделили от остальных.

Их допросили и отпустили домой, а что с отцом, им неизвестно. Мать упорно прождала еще сутки-вторые. Пыталась куда-то звонить по телефону. Наконец, каким-то образом она все узнала, и я впервые в жизни увидел, как мать рыдает. Мне тоже стало понятно случившееся, но осознать, ощутить гибель отца я все равно был не в состоянии. Вообще, события последних дней я воспринимал так, словно они происходили в каком-то отдаленном, нереальном мире. Они не вызывали во мне никаких сильных переживаний, но сознание мое и чувства казались какими-то воспаленными, наподобие того, как бывало во время моих частых в детстве болезней, сопровождавшихся сильным жаром.

В тот же день после полудня — это было 1 июля — мы узнали, что немцы уже в Риге. Мать решила и пошла запрягать верную одноглазую кобылу Майгу. Она взяла несколько одеял и пальто для каждого из нас, и мы двинулись. Я увез с собой книжку, которой больше всего дорожил. Она называлась «Следы на камне» и рассказывала о палеонтологических находках и о том, как по ним воссоздают историю эволюции растительного и животного царств на Земле.

Пять дней и пять ночей безропотная Майга тащила подводу с беззащитной, никогда не сталкивавшейся с жизненными трудностями, только что овдовевшей женщиной и ее двумя детьми — тринадцатилетней девочкой и девятилетним мальчиком.

Дороги были забиты солдатами и беженцами. То и дело рассказывали, что немцы в десяти-двадцати километрах, за нами слышалась близкая стрельба, взрывы, часто налетали самолеты; на пятый день мы добрались до бывшей советско-латвийской границы. Там еще функционировал контрольный пост, но пропускали всех беспрепятственно.

Еще через несколько часов мы были во Пскове. Мы завели Майгу в какой-то двор, положили ей четверть мешка овса и поцеловали ее на прощание.

На вокзале, где царила полнейшая неразбериха и паника, матери удалось захватить для нас место на одной из открытых железнодорожных платформ, прицепленных к длинному товарному составу, который по слухам должен был с наступлением темноты отправиться на восток.

Мы прожили на этой платформе двадцать три дня. Поезд шел медленно, объезжал города, часами стоял на каких-то безымянных разъездах. Днем было жарко, ночью — холодно. Паровоз засыпал нас угольным порошком, а есть и пить приходилось очень редко, когда члены какого-то поездного комитета разносили суп и чай.

Звуки войны остались далеко позади, а мы все дальше углублялись в необъятную Россию, знакомясь с нею в лице оборванных и босых ребятишек, окружавших наш эшелон на захолустных станциях, однообразие которых подчеркивалось еще больше неизменной надписью «Кипяток» и выстроившейся под нею очередью, оснащенной чайниками и ведрами.

Мы миновали Уральский хребет, и железнодорожное путешествие наше закончилось в Омске. Там нас, беженцев, или официально — «эвакуированных», распределили по районам Омской области.

Мы попали в село Черлак, километрах в ста пятидесяти к югу от Омска на берегу Иртыша. Нас поселили в глинобитной избушке — «мазанке» в одной комнате со старухой-хозяйкой. Все, чем она могла поделиться с нами, были головные и платяные вши; и с этих пор и до конца нашего четырехлетнего пребывания в Сибири мы были постоянно покрыты струпьями от укусов и расчесов, а каждый вечер перед сном мы проводили час-два в обследовании всех швов одежды, откуда извлекали вшей и сжигали их в пламени лампы-коптилки.

Мать начала работать счетоводом в конторе «Заготзерно», что обеспечивало нам возможность выкупать продукты по карточкам. Вещей мы никаких не привезли, и продавать было нечего.

Когда стало совсем голодно, мать выменяла на базаре обручальное кольцо и часы на несколько буханок хлеба и молоко. Настала уже зима, и молоко продавалось в виде больших замороженных дисков, повторяющих форму миски, в которой оно замерзло.

Мы съехали к этому времени от нашей первой хозяйки и поселились в какой-то пристройке, занятой на две трети огромной русской печкой, которую топить все равно было нечем.

Стояли сорокаградусные морозы, снежные сугробы достигали высоты крыши, а у нас в комнате замерзала вода. Изредка мать раздобывала где-то несколько поленьев, но их хватало только на то, чтобы вскипятить чай, а в жилище нашем тепла не прибавлялось.

Я учился в местной школе, но большую часть времени был болен. Противостоять сибирским морозам оказалось мне не по силам. Кроме того, становилось все голоднее и голоднее. В те редкие дни, когда я ходил в школу, меня охватывал панический ужас перед мальчишками-старшеклассниками. Они останавливали меня на улице, кричали «жид, жид, по веревочке бежит», требовали, чтобы я сказал «кукуруза», потешались над моим картавым «р».

Потом они отрезали все пуговицы на моем драном пальтишке и, дав хорошего пинка, милостиво отпускали домой.

На короткое время в Черлаке появился мой старший брат. Ополчение латвийских комсомольцев расформировали. Он работал сначала учителем немецкого языка в школе, потом скрипачом в клубе и, наконец, трактористом в колхозе.

Вскоре его призвали в регулярную армию, но он успел заработать и оставить нам несколько мешков пшеницы, что спасло нас в самую холодную и голодную зиму 1942 года — вторую военную зиму.

Спасаясь от голода, мы перебрались в колхоз, носивший громкое имя «Красное знамя». Но голод нагнал нас и там. Люди ели падаль, выкапывали из ям трупы животных, погибших от сибирской язвы. Дети пухли от голода.

Лето всегда приносило облегчение. Поспевали овощи. В бескрайних степях рдела земляника, а благодатные сибирские реки кишели рыбой. Но зима снова возвращала жестокий голод.

В конце концов мать решила перебраться в казахский аул. Здесь полномочия власти не были столь безграничны, как в русских колхозах. Наряду с «советским» законом существовал неофициальный «казахский» закон, опирающийся на круговую поруку. В результате часть пшеницы и барашков жителям аула удавалось сохранить для собственного употребления.

Но зато здесь был другой бич — неисчислимые болезни, происходившие от грязи. Мне было двенадцать лет, когда мы переехали в аул, и я был очень впечатлителен. Детские руки, испещренные чесоткой, кровоточащие язвы экземы, потускневшие от трахомы, невидящие глаза, головы, лишенные волос и обсыпанные белой, словно мука, паршой — все это пугало и потрясало меня.

Русской школы не было, но мать раздобыла для меня учебники. Я выучил их почти наизусть, перерешал все задачи. Так я закончил пятый и шестой классы.

В остававшееся время я вел всякие ежедневные записи — о погоде, о нашем питании и т.д. Я начал также писать рассказы и помню, что первый рассказ, который я написал, повествовал о людях, совершивших полет на Марс и вернувшихся на Землю. Я благоговел перед своими героями.

В казахском ауле мне исполнилось тринадцать лет. Незачем пояснять, что мы не праздновали «бар-мицва».

Но, быть может, уместно пояснить, что я и не вспомнил о том, что, когда еврейскому мальчику исполняется тринадцать лет, это имеет какое-то особое значение.

Тяготы голода прекратились с нашим переездом в аул. Но холод, вши и малярия истязали нас по-прежнему. Малярия терзала нас троих, но у каждого была своя форма — с суточным периодом, с двухсуточным или тропическая. Мы лечились желтыми таблетками акрихина, которые мать каким-то чудом доставала.

Вообще она превратилась из изнеженной буржуйской дочки в бесстрашную сибирячку. Даже местные жители поражались ее мужеству, когда она, по долгу своей бухгалтерской службы, отправлялась в сорокаградусный мороз за тридцать километров в районный центр, на санях, совершенно одна. Нередко она возвращалась глубокой ночью и не раз рассказывала, как ее преследовали волки.

Я лежал на деревянном топчане в нетопленной комнате, дрожа и от холода, и от малярийного озноба, и представлял себе, как по бескрайней, белой от снега степи, накрытой черным бесконечным небом, движутся сани. Лошадь бежит рысцой, в санях сидит, скрытая огромным овчинным тулупом, маленькая женщина, а за санями, то приближаясь, то отставая, движется стая волков, выдавая свое присутствие леденящим душу воем и зеленым сверканием глаз...

8 ноября 1944 года пришло письмо с фронта от брата, в котором он сообщал, что был в Риге. Он писал, что никого из родственников не нашел и что, хотя еще не все ясно, надо полагать, все они убиты немцами.

До этого времени мы почти ничего не знали о гибели большей части европейского еврейства. Мы получали газеты довольно регулярно, хотя и с опозданием на много дней, но по советской прессе составить себе сколько-нибудь адекватное представление о существе и масштабах еврейской трагедии было невозможно. Прошло еще много времени, пока нам стали известны слова «гетто», «акция», «газовая камера», «душегубка» и пока их жуткий смысл стал нам понятен.

9 мая 1945 года война кончилась. Двамя месяцами позже мы вернулись в Ригу. Внешне здесь ничего не изменилось. Было лето, и городские парки были так же густы, зелены и тщательно ухожены, как и четыре года назад. В старом городе были, правда, кое-где развалины, но в остальном внешний облик города ничем не выдавал прошедшей войны.

Разъезжали извозчики и такси, звенели трамваи, а на знаменитом рижском базаре толстые и большие латышки в накрахмаленных белых передниках продавали источающую аромат клубнику и густую желтоватую сметану.

Все наши близкие родственники погибли. Однако многие знакомые и кое-кто из дальних родственников постепенно возвращались из глубин России.

В Риге поселилось большое число евреев, живших до войны в различных частях России, Украины или Белоруссии, и поэтому количество евреев в городе стало приближаться к довоенному.

На Рош-а-Шана и Йом-Кипур мать повела меня в синагогу. Из всех больших рижских синагог сохранилась только одна — в старом городе, на улице Пейтавас. Остальные были разрушены, сожжены (во многих случаях вместе с предварительно запертыми в них евреями).

В эти первые после войны еврейские праздники синагога, двор перед синагогой и улица, на которой она стоит, были битком набиты народом. Многие были в военной форме, иные с погонами высоких офицерских чинов. Большинство пришло, чтобы встретить знакомых, справиться о судьбе близких. Но внутри здания почти все молились, некоторые исступленно, заливаясь слезами.

Я стоял близко к кантору, слушал его пение и гомон общей молитвы, которая то возносилась до густого гула, то затихала. Я не понимал ни слова, но ощущение причастности к чему-то великому, пронизанному неизвестной и недоступной мне мудростью, владело мною. Я чувствовал, что эти люди, тесным кольцом сжимавшие меня со всех сторон, объединены какими-то узами, превосходящими все, что я знал до сих пор, и что я тоже как-то необъяснимо причастен к этим людям.

Мне было тогда неполных четырнадцать лет. Я возобновил свою учебу в школе, в седьмом классе. Общение с учителями, посещение библиотек и книжных магазинов с новой силой всколыхнули мое влечение к естественным наукам.

Вскоре я вступил в комсомол. Я искренне верил в коммунизм и еще больше — в «великого вождя и гениального учителя всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. Это было время, когда уже были сброшены на Хиросиму и Нагасаки американские атомные бомбы, и ядерная наука и техника стремительно входили в моду. Я жадно читал все, что касалось ядерной физики, и после каждой прочитанной газетной статьи или популярной брошюры уверенность в том, что мое призвание — атомная физика — укреплялось.

Я очень спешил в университет и потому, окончив седьмой класс, провел два летних месяца в бесперывном изучении всех учебников за восьмой класс.

Осенью я сдал программу восьмого класса экстерном при вечерней школе и пошел в девятый. Теперь я проводил в школе от шести до десяти-одиннадцати вечера, а день совершенно не знал, на что употребить. На приготовление уроков уходил час или два, много времени я уделял чтению, но день все еще не был заполнен. От нечего делать мне пришла в голову совершенно дикая идея поступить в детскую балетную школу при Рижском хореографическом училище. Я стал по несколько часов в день простаивать у тренировочной штанги, выделявая по команде хитрые движения ногами и руками, которые назывались «плие», «батман» и так далее в том же духе. Нас также учили танцевать классические танцы — вальс, полонез, польку. По истечении полугода мы стали готовиться к ученическому дивертисменту на сцене Рижского театра оперы и балета. В ожидании наших репетиций я проводил долгие часы в темном и пустом зрительном зале, смотря по десять и иногда двадцать раз репетиции опер и балетов. Я достиг того, что участвовал в программе дивертисмента в массовом исполнении полонеза Шопена, и на этом моя балетная карьера, к счастью, прекратилась.

В выпускном десятом классе я снова учился в нормальной, дневной школе. Физику там преподавал учитель, считавшийся лучшим в городе. При условии, что он был трезв, его уроки были действительно очень увлекательны, и в результате мое пристрастие к физике еще более усилилось.

Я начал в это время особенно интересоваться теорией относительности. Я просиживал в городской публичной библиотеке долгие вечера до самого ее закрытия и упорно конспектировал все, что удавалось понять из более или менее популярных книг. Особенно увлекательными казались мне философские аспекты эйнштейновской теории. Некоторые авторы делали подробные экскурсии в область вопросов, касающихся четырех— и более мерного мира, и размышления о возможности или невозможности восприятия или воображения такого гипотетического мира особенно волновали меня.

Наконец, аттестат зрелости был у меня в руках, и я твердо решил, что поеду в Ленинград поступать на физико-механический факультет Политехнического института. Решиться на этот шаг было очень нелегко, потому что в свои шестнадцать с половиной лет я все еще был «маменькиным сынком», совершенно неискушенным и неприспособленным к самостоятельной жизни.

Во всем, кроме моих научных увлечений, мать полностью опекала и наставляла меня. Я делился с нею всеми своими мыслями, следовал всем ее наставлениям. Она настолько хорошо знала и понимала меня, что часто в разговоре я не успевал еще произнести даже первое слово фразы, как она уже могла досказать всю фразу. Я воспринял от нее много неоценимых принципов. Она учила меня честности, прямоте; старалась воспитывать трудолюбие, чувство сострадания к ближнему и готовность помочь ближнему. Она сама всегда была скромной и застенчивой и потому не могла научить меня бойкости, так необходимой в самостоятельной! жизни, в которую я вступал.

Итак, я отправился в Ленинград, полный радужных надежд и мечтаний о занятиях науками и всякими высокими материями. Мне было тогда, как уже сказано, шестнадцать с половиною лет.

На перроне Варшавского вокзала в Ленинграде меня встречал дядя Наум — двоюродный брат моей матери. Он был вдовцом, жена его погибла от голода во время блокады Ленинграда, а детей у них никогда не было.

Он принял меня как сына. У него была комната в большой коммунальной квартире на Петроградской стороне. Квартира, когда-то роскошная, но сейчас заселенная пятью семьями, с разгороженной кухней и коридорами, являла классический пример коммунальной квартиры. Я впервые увидел там кухню с пятью кухонными столами и пятью примусами. Еще забавнее было то, что в уборной и в ванной было по пять независимых электрических лампочек, а выключатели, с помощью которых они зажигались, были снабжены бумажными табличками, прикрепленными к стене кнопками. На табличках были написаны фамилии жителей. Кроме того, в уборной был повешен самодельный плакатик, на котором было написано: «Стульчак! Сидение! Не заливать и не грязнить! Уважайте себя и других!»

Ленинград, однако, поразил и покориł меня. Я приехал во второй половине июля, и белые ночи были уже на самом исходе, но что-то от них все же еще осталось и будоражило душу.

Дядя Наум, приехавший в Ленинград еще совсем молодым человеком, был, как большинство ленинградских старожилов, безудержно горд своим городом и влюблен в него. Он водил меня по величественным проспектам и площадям, по мостам, нависшим над серебрящейся чешуйчатым блеском Невой, возил в Петергоф и в Царское Село, показывал Эрмитаж и получал несказанное удовольствие от глубокого впечатления, произведенного на меня увиденным.

Город впечатлял чисто эстетически и в еще большей мере тем, что я впервые в жизни соприкасался с историей, со всем тем, что читал в учебниках, в книгах Пушкина и Достоевского и что привык считать непреодолимо отделенным от меня преградой необратимого времени. Возможность перейти через мост над Зимней канавкой, ходить по казематам Петропавловской крепости, подойти вплотную к Медному Всаднику казалась мне чем-то чудодейственным.

Поразили меня и ленинградцы, многие из которых (по крайней мере, в то время) отличались начитанностью, готовностью к взаимопомощи и очень трогательными чувствами к своему городу. Впрочем, много времени для наслаждения достопримечательностями не было. Приближались вступительные экзамены, и к ним надо было готовиться.

Начались экзамены. Это было лето 1948 года. Сталин уже произнес свой знаменитый тост за великий русский народ. Михоэлс был уже убит. Эпоха еврейских газет, театров, издательств доживала последние дни. Начиналась полоса идеологических декретов Сталина-Жданова, борьбы с «космополитизмом». Поползли слухи, что евреев в этом году будут принимать в высшие учебные заведения туго, а уж на факультеты, связанные с ядерной физикой, — тем более.

Экзамены я сдал хорошо. Правда, на устном экзамене по русской литературе произошла неприятная история. После того, как я исчерпывающе ответил на все вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете и еще на несколько дополнительных, экзаменаторша задала мне такой вопрос: «Скажите, в какое время суток и к кому поехала Коробочка после того, как у нее побывал Чичиков?» Я, честное слово, читал «Мертвые души» Гоголя полностью и даже не один раз, но когда и к кому поехала эта самая Коробочка, я не мог вспомнить. Экзаменаторша вознегодовала и, заявив «вы проявили неуважение к моему (она подчеркнула эти слова) национальному писателю», вlepila мне тройку.

Несмотря на эту неприятность, мой средний балл все же оставался на уровне лучших из сдавших экзамены. Кроме того, тройка была по литературе, а поступал я на физико-механический факультет. Однако, когда вывесили списки, я нашел себя в числе непринятых. После того как слезы на моих глазах просохли, я начал изучать списки подробнее и нашел в числе непринятых почти пятьдесят явно еврейских фамилий. Среди принятых мне не удалось найти ни одной такой фамилии. Мое открытие не только не утешило, но наоборот, еще больше потрясло меня.

Я стеснялся рассказать дяде Науму о случившемся, а больше поделиться было не с кем. Поездка на трамвае с конца Выборгской стороны, где находился Политехнический институт, до квартиры дяди Наума продолжалась около часа, но я все еще не успокоился настолько, чтобы чувствовать себя в состоянии говорить с кем бы то ни было. Я не пил водки, и потому все, что смог сделать, — это пойти в гастроном, купить два пирожных и съесть их. Наконец, я все же вернулся домой и рассказал дяде Науму о случившемся. К моему огромному удивлению, это не очень-то потрясло его. Во-первых, он, конечно, не понимал, что значило для меня крушение мечты быть физиком. Во-вторых, возможность того, что меня не приняли из-за того, что я еврей, не казалась ему ни невероятной, ни ошеломляющей, ни новой.

На следующее утро я поехал в институт с намерением протестовать и добиваться. Я знал, что заместитель директора института — профессор Леви. Я видел его однажды — у него была ярко выраженная еврейская внешность, и говорил он тоненьким голоском, страшно картавя. Правда, я не знал тогда, что зовут его Иван Иванович и что еще отец его — крестился.

Секретарша не пустила меня к Леви, но я твердо решил дожидаться его у дверей кабинета. Наступил уже вечер, когда он, наконец, появился и направился к выходу. Я кинулся за ним. Я был очень взволнован и, кроме того, еще никогда в жизни не говорил с глазу на глаз с профессором, поэтому мои объяснения были очень сбивчивыми. Мы вышли из здания. Была сильная гроза с проливным дождем. Мы прыгали через лужи, и ветер заглушал мои слова. «Скажите, — добивался я, — скажите только одну вещь. Меня не приняли из-за того, что я еврей, верно?» Он ответил что-то о равенстве всех национальностей в Советском Союзе, добавил, что завтра будут предлагать непринятым поступить на другие факультеты, и исчез в мокрой, полыхающей молниями тьме.

Я остался стоять, промокший до нитки, униженный и несчастный, еще не знавший тогда, что, быть может, эта минута, когда я глубоко и болезненно понял, что я не такой, как все другие вокруг, что я не такой потому, что я еврей, была началом самого главного и счастливого поворота в моей жизни. Я не мог тогда знать, что за три с лишним тысячи лет до этого Всевышний сказал евреям: «Вот Я даю вам благословение и проклятие, жизнь и смерть — и да выберете жизнь».

Я, конечно, не осознал еще в тот момент благословения и потому был далек от счастья быть евреем, но проклятие ощутил глубоко, и это было большим прогрессом по сравнению с тем временем, когда я был уверен, что я такой, как все.

В конце концов меня приняли на гидротехнический факультет. Хотя это было совсем не то, о чем мечталось, занятия увлекли меня. Первые лекции по дифференциальному исчислению произвели на меня огромное впечатление. Изящность мысли, динамичность представлений и глубокая философичность этого предмета оказались для меня настоящим откровением. Я подолгу размышлял об услышанном на этих лекциях, купил множество книг по математике, содержание которых далеко выходило за пределы нашего скромного обязательного курса. Я проводил за чтением этих книг долгие вечерние часы, наслаждаясь процессом постижения написанного в них, испытывая огромную радость, когда какое-нибудь трудное место становилось, наконец, понятным. Это были часы, представлявшие мне полными глубокого смысла и значения.

Мне доставляли также удовольствие лекции по физике, аналитической геометрии; меньше — по химии. В то же время необходимость заниматься черчением или геодезией была очень мучительной. Эти предметы отталкивали меня своей сугубой прагматичностью и напоминанием о том, что я не на физическом факультете.

Наше холостяцкое жилище у дяди Наума пополнилось еще одним постояльцем. Это был брат покойной жены дяди Наума — Миша Гуревич. Он только что демобилизовался из армии, в которой прослужил всю войну и еще три года после нее. Ему было уже далеко за сорок, но он не имел ни жены, ни пристанища, и сердобольный дядя Наум приютил его у себя.

Мы все трое возвращались домой поздним вечером, и тогда дядя Наум принимался за приготовление нашего холостяцкого обеда. Потом мы сидели далеко за полночь и пили чай, который священнодейственно заваривал дядя Наум. Разговорам не было конца, и они снова и снова возвращались к двум центральным темам: лживости и жестокости советской власти и уникальности судьбы нашего многострадального еврейского народа. Обе эти темы были совершенно новы для меня.

Прожив к тому времени уже восемь лет при советской власти, я знал о ней только то, что писалось в надрывавшихся от подбострастия к Сталину газетах, и то, что меня заставляли учить в школе по переиздававшемуся ежегодно миллионными тиражами «Краткому курсу истории Всесоюзной коммунистической партии большевиков». Еще, конечно, я читал «Поднятую целину» Шолохова и «Молодую гвардию» Фадеева и другие книжки в том же духе. Здесь, в комнате на Петроградской стороне, я впервые услышал о нэпе и

последующем преследовании нэпманов, о раскулачивании, о ледящих душу методах ЧК, начиная со времен Урицкого и Дзержинского и кончая апофеозом 1937 года, о миллионах убитых или заточенных в лагеря без суда и следствия — по решению «тройки».

Но если все это потрясало и угнетало, то рассказы моих наставников о прошлом и настоящем еврейского народа волновали и будоражили душу. Я узнал и о героическом периоде Иудейского и Израильского царств, и о трагедиях вавилонского плена и римского порабощения.

От этих древних времен мы переходили к жизни евреев в черте оседлости в России, к погромам, к делу Бейлиса, к тяготам и преследованиям периода гражданской войны, к взлету евреев в науках и искусствах при советской власти и, наконец, к только еще начинавшемуся новому периоду преследований. Мельком касались наши беседы и провозглашенного за полгода до этого Израиля.

Надо сказать, что для меня это событие прошло почти совсем незамеченным. Я, конечно, читал о самом событии и о последовавшей войне, в которой поначалу Советский Союз принял сторону евреев и даже клеймил печатно «арабских националистов». Однако провозглашение Израиля ни меня, ни кого-либо из людей, окружавших меня, не взволновало сколько-нибудь серьезно, во всяком случае я не ощутил, что это событие имеет ко мне непосредственное отношение. Теперь, в ходе наших ночных бесед, это событие приобретало в моем представлении все большую значительность и близость.

Оба моих собеседника необычайно гордились мудростью еврейского народа. Однако мерилom этой мудрости служили для них не столько Пророки или составители Талмуда (хотя и об этом они упоминали), сколько бесчисленные фамилии евреев-ученых, писателей, музыкантов. Они получали огромное наслаждение, составляя длинные перечни имен, в которые входили Эйнштейн и Дизраэли, Спиноза и художник Левитан, советский академик историк Тарле и физик Йоффе, писатель Ильф и Карл Маркс, историк Дубнов, писатель Фейхтвангер и многие, многие другие. Парадоксальным образом в эти списки не попадали ни Маймонид, ни Йегуда а-Леви, ни Баал-Шем-Тов, ни рабби Йоханан бен Закай, ни даже Моше-рабейну. Однако я в то время, конечно, не замечал этого трагикомического парадокса.

Часто велись долгие споры — исследования о каком-либо сомнительном случае, например, был ли евреем композитор Визе?

Отдельно составлялись списки революционеров и коммунистических лидеров: Троцкий, Свердлов, Урицкий, Каутский, Роза Люксембург, Мартов, Мехлис, Володарский, Каганович, Каменев, Зиновьев и т.д. Станным образом четкое представление о том, что такое российский коммунизм, не исключало у них возможности гордиться знаменитыми евреями-коммунистами.

В этой связи можно было бы упомянуть еще, что у них, как и у многих других советских граждан, убеждение, что «газеты все врут», не исключало веры в то, что «что-то все же есть» в написанном в газете.

Дядя Наум обожал газеты и журналы, и его комната была полна разнообразных подшивок годовых комплектов как новых, так и уже пожелтевших от времени. Он зачитывался разнообразными книгами, читал иногда ночи напролет и, благодаря своей необыкновенной памяти, был настоящей энциклопедией сведений по истории советской России, гражданской, советско-финской и Второй мировой войн; по советской литературе, по прошлому и настоящему Ленинграда и, конечно, по всем вопросам, связанным с советским еврейством.

Спустя некоторое время дядя Наум добыл для меня книгу о деле Бейлиса, изданную в начале 20-х годов, и два тома «Всеобщей истории евреев» Дубнова дореволюционного издания. Эти книги чудом уцелели у кого-то из его друзей, пройдя невредимыми через все домашние чистки в тревожные ночи 1937 и 1948 годов.

Дубнов приковал меня к себе, и я прочел его книги несколько раз подряд. Трехтысячелетняя история еврейского народа в изложении этого блестящего писателя вставала передо мной, перекликаясь снова и снова с событиями сегодняшнего дня.

Нет надобности упоминать, что я безоговорочно принимал все концепции автора, при этом, конечно, понятия не имея о том, что есть различие между традиционным еврейским отношением к священным книгам и библейской критикой, изобретенной немцами и так охотно воспринятой еврейскими просветителями-«маскилим».

Вслед за автором я уверовал, что Пятикнижие — литературное произведение, составленное из творений многих авторов, живших в различные эпохи, что «Песнь песней» написал не Соломон, а аноним, живший на многие сотни лет позже Соломона, и т. п.

Особенно удивила меня идея о том, что столь многочисленные и строгие сегодня законы, определяющие каждый шаг религиозного еврея, были заново

изобретены авторами Талмуда, чтобы оградить народ, рассеянный после крушения древнего еврейского государства, от ассимиляции и уничтожения. Эта идея так увлекла меня, что я написал стихотворение, из которого и по сей день помню последнюю строфу:

Хвала, хвала творцам Талмуда,
Своею мудростью сумевшим нас спасти,
И смертным сыновьям бессмертного народа,
Сквозь тьму веков означившим пути.

Моя чуткость ко всему еврейскому необыкновенно обострилась. Тогда в газете «Правда» появилась ставшая потом печально знаменитой статья Эренбурга, занимавшая целую полосу, в которой доказывалось, что еврейского вопроса в Советском Союзе нет и, более того, что еврейского народа, в соответствии с учением Ленина-Сталина, вообще не существует. «Вся общность евреев разных стран, — говорилось в ней, — основана на том, что их притесняют. Это все равно, как если бы во всем мире стали преследовать рыжих или курносых»... Отсюда следовало, что так как в Советском Союзе никто евреев не притесняет, то и общности их с евреями других стран больше не существует.

Я никак не мог примириться с ролью члена сообщества рыжих или курносых и с еще большим упорством старался понять, что собой представляет мой народ и в чем его неповторимая особенность, которую я все больше и больше ощущал.

Тем временем антисемитизм «сверху» все усиливался, оплодотворяя и усиливая антисемитизм «снизу». Все труднее становилось попасть на определенные факультеты высших учебных заведений, сложнее продвигаться по службе. Были случаи арестов, высылки. Много шуму вызвали слухи о списках евреев, желающих уехать в Израиль, с которыми, якобы, обратилась к Сталину Голда Меерсон, первый посол Израиля в СССР. Много страшных историй рассказывалось о судьбе людей, упоминавшихся в этих списках.

Примерно в это время я предпринял отчаянную попытку возобновить и пополнить свои познания в иврите. Надо сказать, что познания мои ограничивались тем, что я помнил из первого класса ивритской гимназии, в котором учился за девять лет до описываемого времени, и вряд ли это было больше, чем не очень твердое знание букв алфавита.

Я пошел в библиотеку Салтыкова-Щедрина и, потратив много времени на рыскание по каталогам, наконец, нашел несколько учебников древнееврейского языка для русскоязычных читателей, изданных до

революции в Вильно. Я потратил многие часы, заполняя тетрадные страницы грамматическими упражнениями и параллельно составляя самодельный иврит-русский словарь.

Изрядно поколебавшись и помучавшись сомнениями, я решил привлечь к этим занятиям одного товарища-студента. Он согласился, и вдвоем заниматься стало совсем весело. Когда мы уставали, он брал книги лирических стихов, а я — по теории относительности и квантовой механике.

Скоро, однако, пришел конец нашим занятиям. Однажды, когда мы пришли в библиотеку и подали бланки с заказами на книги, нас попросили последовать за одним из сотрудников библиотеки.

Мы долго шли по каким-то сумеречным коридорам, через хранилища с тяжелым, но настраивающим на торжественный лад запахом старинных фолиантов. Наконец, мы пришли в какой-то безымянный кабинет. Человек, сидевший там за письменным столом, был очень любезен и много улыбался. Он хотел знать, почему и с какой целью мы интересуемся древнееврейским языком. Наши ответы были очень бессвязны — тем более, что мы в действительности сами понятия не имели, зачем это делаем. Просто я чувствовал к этому какую-то внутреннюю потребность, и чувство это постепенно передалось моему товарищу.

Все это очень не понравилось нашему собеседнику, лицо его приняло укоризненное выражение, и он так ласково и вкрадчиво стал просить нас прекратить занятия. Когда я рассказал обо всем этом дяде Науму, он очень всполошился. У него не было сомнений, что опасность серьезна и что надо быть теперь тише воды, ниже травы.

Занятия ивритом прекратились, но моя тяга ко всему еврейскому стала еще сильнее, а наши ночные разговоры в коммунальной квартире на Петроградской стороне стали еще продолжительнее и горячее.

На Пасху у нас появлялась маца, которую, правда, ели вперемешку с хлебом, а в канун Йом-Кипур я ходил в синагогу, а потом постился весь день, продолжая заниматься в институте. Вечером, на исходе поста, я покупал в булочной около института белую булку и съедал ее, стоя на трамвайной остановке.

Помимо технических предметов в институте все обязаны были проходить историю партии. В «Кратком курсе истории ВКПб» была специальная глава о диалектическом материализме, которая изучалась особенно подробно и углубленно.

Мы слушали лекции, готовились к семинарам, конспектируя «первоисточники» — «Вопросы ленинизма» Сталина, «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина и т.д.

В «Материализме и эмпириокритицизме» упоминался Кант, Мах и другие философы, но о них мы могли судить лишь по отрывочным цитатам или со слов преподавателей, которые тоже, конечно, книг Канта и в руках не держали.

Из нашей институтской библиотеки, славившейся богатейшей коллекцией книг и журналов, и Кант, и Мах, и Декарт, и Лейбниц давно исчезли. Я своими глазами видел, как время от времени от черного хода библиотеки отъезжали грузовики, забитые изорванными и истоптанными книгами. С этими транспортами покинула библиотеку, между прочим, и шестнадцатитомная «Еврейская энциклопедия», которая еще была доступна в первые дни моей учебы в институте.

Итак, мы упорно постигали диалектический материализм. После книг по математике и физике мне было очень трудно привыкнуть к ленинскому стилю, где доказательства заменяла брань и насмешки над инакомыслящими.

Гносеология представлялась мне самым уязвимым местом марксистской философии. Я долго бился над утверждением о том, что наши органы чувств дают нам истинное представление о предметах. Это утверждение вызывало множество вопросов. Например, где гарантия, что ощущения от одного и того же предмета одинаковы у двух разных людей, но самым важным и неоспоримым доводом против марксистской гносеологии казался мне следующий. Если принять, что наши ощущения дают в совокупности верное представление о предмете, то ведь должен быть кто-то — верховный арбитр, который внечувственно знает, каков этот предмет. Таким образом, одно из главных положений материалистической гносеологии несет в себе признание Верховного существа!

Я стал охотиться за философскими книгами. Часто не удавалось раздобыть произведение того или иного философа и тогда приходилось довольствоваться книгами о нем и даже чаще — книгами против него. Глубже ли, поверхностнее ли, но я познакомился тогда с Платоном, Сократом, Гераклитом, Аристотелем, Лукрецием, Филоном Александрийским, Авиценной, Беконом, Спинозой, Паскалем, Декартом, Лейбницем, Фихте, Кантом, Гегелем, Фейербахом, Махом и другими.

Меня увлекала и восхищала сила абстракции и изящность мысли одних философов, огорчала и возмущала непоследовательность и наивность других, но чтение это всегда было очень волнующим. Однако, сам того не подозревая вначале, я искал в философии не только альтернативу оказавшемуся неприемлемым для меня диалектическому материализму. Я искал такую систему взглядов, такое мировоззрение, которое в числе прочего дало бы мне ключ к пониманию уникальной сущности и неповторимой исторической судьбы евреев.

Я понимал, вернее инстинктивно чувствовал, что ответы на эти вопросы лежат в области иррационального, все чаще осознавал, что поиски ведут меня к Б-гу, избравшему еврейский народ. В моем продвижении в этом направлении чтение философов могло оказать лишь косвенную помощь.

Эти занятия помогли мне, конечно, отвергнуть диалектический материализм как систему. Но материалистические и атеистические взгляды, критерии, мерки все еще владели мною. Их основой служила воспринятая еще в детстве вера в теорию эволюции и во всемогущество естественной науки двадцатого века.

Книги и лекции по физике, астрономии, биологии, научно-фантастические романы и, наконец, как ни парадоксально, «Всеобщая история евреев» Дубнова были истинными источниками, питавшими мое материалистическое мировосприятие. Откуда было мне знать тогда, что и физика, и астрономия, и биология, и уж тем более еврейская история сами по себе отнюдь не тождественны материализму и атеизму, а напротив, допускают, и даже с большим успехом, прямо противоположную трактовку.

В результате, уже ясно поняв абсурдность материализма — и не только в части, касающейся гносеологии, но, прежде всего, в самой принципиальной основе материализма, в стремлении превратить дух в функцию материи, — я все еще по существу оставался материалистом-атеистом и верил в то, что науки и сама современность отрицают религию.

Однако под влиянием влечения к постижению всего еврейского я стал постепенно ощущать все более сильную потребность проверить этот последний тезис. Я стал углубляться в новейшие научные теории в разных научных областях (кроме, естественно, генетики и кибернетики, которые были запрещены Сталиным), ища ясных и прямых аргументов против религии.

Очень скоро выяснилось, что таких аргументов не существует. Уже тогда стала для меня проясняться разница между наукой, занимающейся лишь

взаимосвязью явлений, и религией, раскрывающей сущность, и предназначение вещей.

Осознание этой разницы приводило далее к выводу, что предметы религии и науки совершенно различны, а значит, они в принципе не могут противоречить друг другу. Я был близок к открытию для себя разницы между «творением из нечего», доступным науке и технологии, и «творением из ничто», доступным лишь Всевышнему. Конечно, я не знал тогда этих терминов и понятий, которые я почерпнул из хасидизма лишь двадцать лет спустя.

Как бы там ни было, начинало рушиться одно из серьезных препятствий на пути, ведшем меня к иудаизму, к Торе.

Прошли пять лет учебы в Политехническом институте. Все эти годы я напряженно и увлеченно учился. Длинные зимние вечера я просиживал в институтской библиотеке до самого ее закрытия. Ни студенческие выпивки, ни столь популярные в то время вечера танцев не интересовали меня, и потому в кануны праздников и нового года случалось, что я оставался единственным читателем в огромном зале.

Однако, как уже упоминалось, я урывал очень много времени от учебы для своих философских и внепрограммных научных занятий. Кроме того, вся наша учебная группа очень увлекалась искусством. Это была маленькая группа — всего 11 человек, из которых 7 были евреями. Мы все вместе посещали курсы по истории изобразительных искусств, по музыковедению; неисчислимое количество дней проводили в Эрмитаже и старались не пропустить ни одного концерта в Большом или Малом залах филармонии. В течение нескольких лет мы вместе посещали еженедельные лекции о классической музыке, которые очень увлекательно и с огромным успехом читал музыковед Энтелис.

Разумеется, я оставался комсомольцем, а на одном из курсов был даже избран комсоргом группы. Я выступал на собраниях и повторял штампованные фразы, почерпнутые из последнего номера газеты. Не могу сказать, чтобы лживость моего поведения особенно меня угнетала. Лгали все, ложь стала давным-давно усвоенной привычкой, а единственной альтернативой было встать, во всеуслышание заявить: «Не хочу притворяться, хочу выйти из комсомола», — и... отправиться в Сибирь. Увы, я не встал и не заявил, и, признаюсь, даже в мыслях моих этого никогда не было.

Будучи на третьем курсе, я стал работать в гидравлической лаборатории. Хотя моя роль поначалу была вспомогательной, сам факт моего участия в научных исследованиях приводил меня в трепет.

Помню, как однажды в процессе работы я спроектировал какое-то простенькое устройство, начертил его, сдал чертеж в мастерскую и через несколько дней получил мое детище готовым. Это произвело на меня впечатление чуда. Казалось удивительным, что мой замысел, воплотившийся первоначально в условном рисунке плоского чертежа, стал вдруг осязаемым, реально существующим... Впрочем, работа в лаборатории приносила также и весьма необходимый заработок, который вместе со стипендией обеспечивал мне скромное, но вполне безбедное существование.

Экзамены, бывшие для многих студентов бедствием, воспринимались мною как праздник, как азартная игра. Я любил экзаменоваться у преподавателей, у которых экзамен превращался в состязание, в единоборство на поприще глубины знаний и сообразительности.

Летом мы проходили инженерную практику на строительстве гидротехнических сооружений. Эти сооружения входили в моду, поскольку Сталин — «зодчий коммунизма» — как раз распорядился приступить к «великим стройкам коммунизма», включавшим несколько крупных гидроэлектростанций, а также Волго-Донской судоходный канал.

На строительстве этого канала я пробыл все лето 1951 года. Я находился на участке, примыкавшем к Дону. До сих пор у меня перед глазами бескрайняя, выжженная солнцем, пыльная степь, по которой конвоиры-казахи с собаками гонят тянущиеся до самого горизонта колонны рабочих-арестантов. Жара стояла все время выше сорока градусов, но люди работали исступленно, поскольку это обеспечивало зачет одного дня заключения за три. Я близко познакомился со многими заключенными, выслушал сотни душераздирающих историй... Я научился там кое-чему и по гидротехнике, однако несомненно, что столкновение лицом к лицу с неведомыми мне раньше сторонами жизни было еще более важным и поучительным.

Я закончил институт летом 1953 года, а за полгода до этого разразился кризис в жизни советского еврейства — знаменитое «дело врачей». Помню хорошо утреннюю поездку в трамвае с густо заиндевевшими окнами 13 января 1953 года. Все было как всегда. Трамвай полз по Выборгской стороне, скрипя на поворотах.

Я был уже студентом-дипломником, и потому мог себе позволить ехать в институт позже, когда час «пик» уже миновал. Мне досталось сидячее место. Я по привычке углубился в какую-то книгу, однако скоро обратил внимание, что закутанные пассажиры не дремлют и не читают, как обычно, а находятся в каком-то необыкновенном возбуждении. Многие оживленно разговаривали, и сквозь трамвайный грохот до меня беспрерывно долетали слова «евреи», «жиды». Я так и не смог понять, что случилось, пока не вышел у института. Остановившись у первого же газетного стенда, я без труда разыскал в «Правде» пресловутое сообщение ТАСС.

И началось... Митинги, клеймящие врачей-убийц, еврейских буржуазных националистов, фельетоны. Все новые и новые разоблачения. Если раньше господствовал антисемитизм, и слово «еврей» стыдливо маскировалось выражением «безродный космополит», то теперь вдруг это слово замелькало на газетных полосах.

Вскоре поползли слухи об эшелонах, подготовленных для массовой высылки евреев в Сибирь. Толпа, все больше упивалась дозволенностью открытого антисемитизма.

Однажды, когда я ехал поздно вечером из института, меня выбросили на ходу из трамвая, обвинив в том, что я пытался остановить его стоп-краном. Каким-то чудом мне удалось удержаться на ногах.

Потом умер Сталин, и «дело врачей» заглохло. Несомненно, что это «дело», как и предшествовавшая ему длительная борьба с «безродными космополитами», немало способствовали укреплению моих еврейских чувств. Ко времени смерти Сталина самой заветной, самой лелеемой мечтой была мечта о Священной земле Израиля. Помню, что в ту самую зиму 1952-53 годов в гастрономический магазин, в котором работал дядя Наум, прибыли яффские апельсины. Он рассказал, что работники магазина трудились до глубокой ночи, уничтожая бумажные обертки, в которые были завернуты апельсины. Бумажки ему принести не удалось, но несколько апельсинов он все же принес; мне казалось святотатством есть плоды, выросшие под небом, которое так манило и звало.

Хотя возможность когда-либо попасть в Израиль представлялась не просто несбыточной, но даже совершенно абстрактно мечтать об этом казалось вершиной наивности, я все же беспрерывно возвращался мысленно к этой теме.

Во время каникул, проведенных в Риге, эти настроения еще более окрепли. Как ни сильна была проводимая властями нивелировка положения по всей стране, в Риге все еще можно было найти не столь «осовеченных» евреев. Некоторые из них осмеливались иногда в кругу самых близких, опасливо оглядываясь на портрет «великого вождя», пересказывать содержание последней передачи Би-Би-Си, а иногда даже поговорить об Израиле. Много беседовал я на эту тему с мужем моей сестры — Марком Израэли, прошедшим гетто и немецкие концлагеря. Мы с ним были очень дружны.

Я по-прежнему продолжал, хотя и медленно, продвигаться в направлении еврейской веры. Будучи как-то в Риге, я раздобыл молитвенник — «сидур» с русским переводом. За словами молитв, особенно когда я по буквам разбирал древнееврейский текст и выяснял его смысл с помощью русского перевода, угадывался неведомый мне мир понятий космической глубины, необъятных мыслей, вечных истин. В этом старом виленском издании давались не только переводы молитв, но приводились также некоторые еврейские законы и правила. Я начал чувствовать неловкость от того, что в теории я так привержен идеалам и духу еврейского учения, а на деле не исполняю ни одного из предписаний этого учения. И я начал пытаться кое-что исполнять. Мои представления о еврейских законах были путаными и противоречивыми, я черпал их иногда даже из таких источников, как рассказы Шолом-Алейхема. В результате я перестал заказывать в студенческой столовой свиной шницель и просил не класть масла в картофельное пюре, подаваемое с говяжьим гуляшем, однако я не подозревал, что по еврейским законам, которых я не знал, эта говядина сама по себе не менее некошерна, чем отвергаемая мною свинина.

Незадолго до окончания курса нас распределили по местам работы. Распределение производила специальная комиссия во главе с кем-то очень высокопоставленным из Министерства высшего образования. Заранее был составлен список, последовательность фамилий в котором соответствовала заслугам студента в учебе и общественной работе. Мы должны были входить в зал, где заседала комиссия, в порядке, соответствующем списку, и считалось, что каждый имеет право свободного выбора из числа мест работы, которые останутся к моменту, когда дойдет его очередь. Я был вторым в списке и, поскольку нам объявили, что имеется четыре места для учебы в аспирантуре, пребывал в спокойной уверенности, что останусь в аспирантуре при кафедре гидравлики.

Однако, когда стали вызывать студентов, началось что-то странное: меня не вызвали ни вторым, ни третьим. Я ворвался в зал и, заикаясь от волнения, стал объяснять, что меня, вероятно по недоразумению, забыли позвать. Мне никто ничего не ответил, но какие-то два здоровых детины схватили меня за плечи и вытолкнули обратно в коридор. Вызвали меня седьмым и сказали, что мне предлагается идти работать во Всесоюзный институт бумажной промышленности — «Гипробум». Я начал протестовать, и какой-то тучный человек в военной форме с погонами генерал-лейтенанта сказал, брезгливо и осуждающе глядя на меня: «Предложите ему Воркуту, тогда он быстро согласится на «Гипробум». Я не согласился и ничего не подписал. Все же потом выяснилось, что мое назначение инженером в «Гипробум» было утверждено без моего согласия. Единственное, чего мне удалось добиться в этом институте, имевшем филиалы во многих городах, это направления в Ригу.

В середине лета 1953 года, когда уже угасли белые ночи, я защитил дипломный проект «Копчагайская гидроэлектростанция мощностью 200 тыс. киловатт на реке Или», получил диплом «с отличием» и уехал в Ригу. Я выбрал из предложенных нам тем дипломных проектов электростанцию на реке Или потому, что эта река протекает в пустыне. Мне хотелось верить, что, работая над этим проектом, я приобрету опыт, который когда-нибудь смогу использовать на родной земле...

Итак, институт был позади, диплом с отличием — в кармане, но никакого удовлетворения это не принесло. Впереди предстояло корпеть в «Гипробуме» — проектировать строительство бумажных фабрик. Все же мои мысли и сны были прикованы к двум манящим вершинам. Одна называлась наука, творчество, открытия; другая — Израиль. Но обе были недостижимы. Пути в Израиль просто не существовало. Путь в науку был перегорожен множеством барьеров.

Я бегал на разные семинары в Латвийский университет, поступил на заочный физико-математический факультет, сдавал и сдавал бесчисленные экзамены. На работе, отложив в сторону чертежи, списывал десятки страниц уравнениями гидродинамики, пытаясь решить одну привлекавшую мое внимание практическую проблему, которая называлась «затопление поверхностного прыжка». Кто-то дал мне результаты опытов, теоретическое же решение предстояло найти. Однажды меня осенило, и после принятия одного очень простого и логичного допущения решение получилось. С замиранием сердца я стал подставлять в полученную формулу экспериментальные данные. Совпадение получалось идеальное.

У меня кружилась голова, и все во мне пело. Я ощущал себя властелином природы, послушно покоряющейся детищу моего разума. Мне вспомнились слова Лапласа: «Когда математическое решение, проверенное опытом, становится законом природы, это приносит высшее наслаждение, доступное человеку». Мне ужасно хотелось продолжить работу, расширить ее, поставить дополнительные эксперименты. В заброшенной подвальной лаборатории гидравлики Латвийского университета мне разрешили за некоторую плату поставить эксперименты. К этому времени мне удалось уйти из «Гипробума» и устроиться преподавателем в техникуме. Для того чтобы оплачивать опыты, я взял дополнительную работу. Однако при двух работах я попадал в лабораторию лишь поздним вечером.

Незадолго до этого я познакомился с Фаней, моей будущей женой. В первые же дни нашего знакомства я обрушил на нее целый поток рассуждений об евреях, еврействе и Израиле. Она все воспринимала благосклонно, с интересом — даже мои философские разглагольствования. Тем самым она прошла, в моем понимании, самый главный экзамен, и очень скоро вопрос о нашей предстоящей женитьбе был решен. Правда, как я расскажу позднее, сама женитьба задержалась на многие годы, и причиной было опять же наше стремление в Израиль.

Фаня изучала медицину, но по вечерам она самоотверженно ассистировала в моих экспериментах по гидродинамике, сидя в сыром и промозглом подвале иногда до самого рассвета.

По старой ленинградской привычке я стал водить Фаню в музеи и на симфонические концерты, и ее родители, которые были одинаково далеки как от сионизма, так и от симфонической музыки, стали называть меня «симфонист».

Через некоторое время я обобщил все данные исследования — теоретические и экспериментальные — в большой статье, которую опубликовал в Вестнике Латвийской Академии наук.

Держать в руках свою первую печатную работу было очень радостно. Я заставил бедную Фаню прочесть всю статью. Она героически проделала это, желая мне польстить. Впрочем, с профессиональной точки зрения, статья получилась неплохой, и я получил хорошие отзывы о ней. Продолжай эксперименты и готовя дальнейшие статьи, я приступил к написанию диссертации.

Таким образом, возможность получения ученой степени стала реальной и без поступления в аспирантуру.

Однако, не успел еще я закончить диссертацию, как меня захлестнули события совсем другого рода. 1956 год ознаменовался Синайской кампанией Израиля и Венгерским восстанием против советского господства, которое тут же было жестоко подавлено.

В этом же году в Москве состоялся знаменитый XX съезд коммунистической партии, на котором Хрущев впервые заговорил о «культе личности» Сталина. В связи ли с этими событиями или независимо от них конец 1956 года был отмечен резким усилением интереса к Израилю у некоторой части молодежи в Риге.

В ноябре или декабре 1956 года мы с Фаней впервые были приглашены в компанию, где главной темой вечера был Израиль. Компания собралась в чьей-то квартире. Происходившее там привело нас в глубокое волнение. Это было так непохоже на всегда отталкивавшие меня обычные молодежные вечеринки, где пили, танцевали, рассказывали анекдоты... Здесь же господствовала идея. Слушали магнитофонные записи передач израильского радио о Синайской кампании, вслух мечтали об отъезде в Израиль. Слушали также пластинки с песнями на идиш, а кто-то прочел наизусть рассказ Шолом-Алейхема.

Начали спорить — большая часть присутствующих считала, что «галутские мелодии» и язык идиш отжили и утратили всякое значение в эпоху, когда история еврейского народа творится в Израиле и пишется на иврите.

Самая возможность говорить на эти темы в большой компании — пусть даже тщательно подобранной — вызывала у нас восторг и головокружение. Мы разошлись пьяные от всего пережитого. К ощущению счастья примешивалась, правда, и тревога, а неожиданный стук в дверь вызывал весьма неприятные ощущения. Однако по мере того, как проходило время и никто не приходил нас арестовывать, мы становились все смелее и решительнее.

Появились слухи о том, что недавно пришедший к власти в Польше Гомулка договорился с Хрущевым о праве бывших польских подданных, застрявших в Советском Союзе во время и после Второй мировой войны, вернуться в Польшу. Утверждалось, что соглашение относится также и к евреям, бывшим когда-то гражданами Польши. Некоторое время спустя соглашение действительно опубликовали. Это было потрясаяще! По улицам рядом с нами ходили люди, имевшие официальное право уехать из Советской России.

Было известно также, что Польша в то время почти не препятствовала отъезду евреев в Израиль. Кто бы мог вообразить такое годом раньше?

Однако беда состояла в том, что ни я, ни Фаня никогда не имели к Польше даже самого отдаленного отношения.

Решение не заставило себя долго ждать. Было постановлено, что наша свадьба откладывается на неопределенное время, а вместо этого мы регистрируем брак с бывшими польскими подданными и уезжаем с нашими фиктивными женой и мужем с тем, чтобы в конце концов воссоединиться с Фаней на родной земле.

От этих планов захватывало дух. Все понятия сместились. Все ценности переоценивались. В частности, моя диссертация, которая была уже к тому времени готова, стала первой жертвой нового начинания, и принес я эту жертву безо всякого сожаления. Проблема состояла в том, чтобы найти подходящих жениха и невесту. Фаня, которой едва исполнилось двадцать лет, и особенно ее родители боялись, что мы порастеряем друг друга в необъятном мире, и потому настаивали, чтобы жених и невеста были братом и сестрой. Это еще более осложняло поиски кандидатов.

Отчаявшись найти кого-либо подходящего в Риге, я решил отправиться в Вильнюс — город, принадлежавший Польше до войны. Раздобыв адреса нескольких вильнюсских евреев, с которых можно было начать поиски, и получив в техникуме несколько выходных дней, я отправился в путь. В городе меня познакомили еще с несколькими виленчанами, и поскольку все они относились к кругу думающих об Израиле, то создавалось впечатление, что весь Вильнюс объят горячкой отъезда. Семьи, уже собирающиеся в путь, немного разочаровали меня. В моем представлении они должны были ликовать, петь и интересоваться только тем, как быстрее оформить бумаги и оказаться по ту сторону границы.

Когда я представлял себе, как человек беспрепятственно пересекает эту ненавистную бронированную границу, сердце мое замирало и наполнялось невыразимо сладким трепетом. Но эти люди в большей своей части были удручены и раздражены, они с утра до вечера бегали по магазинам, покупали, паковали. Я побывал в десятках семей, но, так ничего и не добившись, уехал в Ригу. Через неделю я приехал снова. В течение двух месяцев я побывал в Вильнюсе не менее десяти раз.

Несколько раз мы ездили с Фаней вместе. «Женихи» попадались все неподходящие: то просили такие суммы денег, что мне и за двадцать лет не

удалось бы наскрести, то заявляли, что готовы жениться и вывезти Фаню с собою, но только женитьба должна быть «взаправду»... Несколько раз я ездил также в Каунас, но тоже безрезультатно.

Неожиданно подходящий вариант нашелся в Риге. Один из наших знакомых рижан был женат на чистокровной полячке. В описываемое здесь время — ранней весной 1957 года к ней приехал в гости брат Юзек. Ему не было еще и тридцати. Как выяснилось, он жил в воеводстве Кошалин, в городке Слупске, вместе с матерью и младшей незамужней сестрой Руфиной. О лучшем варианте я и мечтать не мог. Юзек приехал в Ригу не только для того, чтобы повидаться с сестрой. Он мечтал купить в России автомобиль и увезти его в Польшу, и поэтому искал способ заработать деньги.

Мы быстро договорились. План был прост. Мы немедленно прекращаем встречаться с Фаней и среди всех знакомых и родственников пускаем слухи о нашей размолвке. Фаня начинает показываться на людях с Юзеком, ходит с ним на вечера танцев в медицинский институт, где она училась. Через некоторое время они регистрируют свой брак. Потом Юзек возвращается в Польшу и присылает в Ригу свою сестру Руфину, и тогда уже я разыгрываю представление о любви с первого взгляда. За все вместе я плачу Юзеку 22500 рублей — сумму, достаточную для покупки машины и еще кое-каких более мелких вещей.

Все шло как по нотам. Фаня вышла замуж, повсюду показывалась с Юзеком, много фотографировалась с ним, не переставая делиться с подругами своими восторгами. Потом, увезя с собой новенький автомобиль, он уехал — и стали приходить письма, правда, очень неуклюжие и примитивные, но мы были довольны, что КГБ зарегистрировало сам факт прихода писем. Поскольку никто из фаниных друзей и подруг не знал польского языка, эти письма можно было безбоязненно показывать, и они впечатляли.

Вскоре приехала моя невеста Руфина. Я исходил с нею все рижские бульвары и парки, жажда встреч со знакомыми и коллегами. Наконец, мы пошли регистрироваться. После регистрации я переселился в квартиру сестры Руфины. Ее родственники возмущались моей чрезмерной осторожностью и мнительностью и считали, что вполне достаточно регистрации брака, а разыгрывать спектакль незачем. Я со своей стороны не сдавался и, поскольку постели они мне давать не хотели, стал ночевать в прихожей на полу, не раздеваясь и подстилая под себя газету.

В октябре 1957 года Руфина уехала. Я бежал по перрону вслед за уходящим поездом и изображал терзаемого разлукой влюбленного. Впрочем, я вполне искренне мечтал о том времени, когда снова увижу эту осточертевшую мне полячку, но уже по ту сторону границы... С того самого дня я стал писать бессчетные письма, распинаясь на многих страницах в своей пылкой, не желающей признавать преград любви. Фаня уже давно получила вызов от Юзека, но не подавала прошения о выезде, так как было решено, что я должен пытаться выехать первым. Наконец, пришел и мне вызов от Руфины. К тому времени я уже внушил всему своему начальству в техникуме и коллегам-преподавателям, что моя молодая жена беременна и что при всем своем нежелании покидать Россию, я вынужден перебраться в Польшу не откладывая, иначе я опоздаю к родам.

Директор техникума легко выдал мне необходимую для подачи прошения о выезде характеристику. Я подал бумаги, но почему-то совершенно не верил в успех и никакого торжества не чувствовал. Спустя несколько месяцев меня вызвали по телефону, но не в тот отдел милиции, куда подаются прошения о выезде, а в КГБ. В назначенный час я подъезжал к зданию КГБ на троллейбусе. Мне предстояло первое личное знакомство с этим столь легендарным учреждением и, скажу откровенно, мне не было весело. Перед той остановкой, где надо было выходить, стоявшая за мной женщина спросила, выхожу ли я. Я подумал: «С какой радостью я бы дал тебе выйти здесь, а сам поехал бы дальше, куда глаза глядят — лишь бы прочь от этого страшного дома». Однако, взяв себя в руки, я вышел из троллейбуса. Сияло негреющее, но яркое мартовское солнце, а я шел и думал о том, когда я увижу его снова.

Меня принял сотрудник, в котором я без труда узнал своего бывшего соученика по десятому классу средней школы. У него была очень смешная фамилия — Рябоконь. Когда мы учились вместе, он отличался отвратительным поведением и нахальством и особенно изводил нашего учителя математики.

Вскоре к Рябоконю присоединился еще один сотрудник, и они стали наперебой допрашивать меня. Начали издали, но постепенно разговор полностью сосредоточился на Руфине. Они упорно настаивали на том, что эта женитьба фиктивная. «Вы хотели ее использовать, она хотела вас использовать, но она вас перехитрила», — так сказал мне один из них. Я категорически отрицал все обвинения и судорожно пытался разгадать, куда они клонят. Допрос продолжался много часов, до самого вечера, а на завтра — снова.

Они стали внушать, что моя так называемая «жена» перед отъездом в Польшу потеряла паспорт, а получив новый, не указала в нем, что вышла в Риге замуж.

Я был уверен, что меня провоцируют, и продолжал все отрицать. В конце концов меня заставили написать письменное объяснение и отпустили. Рябоконт вышел со мной в коридор, взял нежно под руку и, шепча в самое ухо, сказал: «Послушай, по-дружески тебе говорю: если что не так — признайся. Для тебя будет лучше». Я снова повторил, что ничего не знаю и требую дать мне соединиться с женой. Выйдя из КГБ, я кинулся к сестре Руфины, и каково же было мое удивление и отчаяние, когда выяснилось, что Руфина действительно потеряла паспорт, а получая новый, не указала, что мы поженились. «Она боялась, что после возвращения в Польшу мама увидит запись в паспорте», — так объяснила ее сестра.

Итак, наша грандиозная затея самым глупейшим образом провалилась. Все же психологически я просто не мог сдаться сразу, смириться с необходимостью прожить все свои дни в Советском Союзе, дышать удушливым воздухом лжи и никогда не увидеть Священной земли. Я бегал, хлопотал, писал Руфине любовные письма и, соответственно, продолжал изображать полный разрыв с Фаней. Надо сказать, что с самого начала «польской эпопеи» мы не только не встречались открыто, но даже по телефону не разговаривали. Мы виделись раз в две недели в подвале здания техникума, где я работал. В этом подвале размещалась учебная физическая лаборатория, которой я заведовал и ключ от которой был только у меня. Для того, чтобы договориться о дне и часе встречи, мы разработали целую конспиративную систему. Я звонил Фане из уличного телефона-автомата и измененным голосом говорил что-то условное, но ничего общего не имеющее с нашей встречей. Она вешала трубку и, когда я снова звонил, уже не снимала ее, а вместо этого считала число звонков. Так я передавал день, а потом и час встречи.

В лабораторию-подвал мы пробирались каждый сам по себе, прикрываясь темнотой и непрерывно проверяя, не следят ли. В том же подвале я закопал большие, завернутые в полиэтилен пакеты с моими рукописями на философские и еврейские темы. Упаковка, кстати, подвела, и когда я несколькими годами позже извлек рукописи, оказалось, что они отсырели, все буквы расплылись, и прочесть что-либо невозможно.

Теперь, после описанного фиаско, мы все еще продолжали видеться только тайно в подвале, поскольку мне было страшно полностью покончить с этим казавшимся поначалу таким надежным вариантом освобождения из рабства.

Так продолжалось до 1961 года, когда всякая надежда на польский вариант рухнула, и мы с Фаней разыграли перед знакомыми фарс повторного сближения. В то же время мы тайно поженились по еврейскому закону — почти на пять лет позже, чем собирались сделать это до того, как блеснул такой обманчивый луч надежды, открывавший, как казалось, путь в Священную землю.

«Хупа» была в городе Даугавпилсе, куда мы прилетели на самолете всего на несколько часов. К тому времени я уже знал, что в предвоенные годы в Даугавпилсе жил Рогачевский гаон — один из самых великих еврейских умов нашего времени, и это была не последняя из причин, по которой нам хотелось совершить обряд женитьбы именно там.

Официально, по советским законам, мы зарегистрировали свой брак лишь полтора года спустя.

Крушение надежд на отъезд привело меня к тяжелейшему душевному кризису. Я был в состоянии глубочайшей депрессии и никак не мог выйти из нее. Все представлялось бессмысленным, бесцельным, бесперспективным. Продолжение жизни в Советском Союзе стало просто невыносимым, а придумать какую бы то ни было новую, хотя бы утопическую лазейку не представлялось возможным. Я видел самого себя окутанным липким туманом безнадежности, скрывавшим не только горизонты, но и самое близкое вокруг меня. Я рвал этот туман, отчаянно барахтался в нем, но он лишь гуще клубился и обволакивал меня.

Я недоумевал, как могут люди вокруг жить спокойной, обывательской жизнью, радоваться, смеяться. Меня поражало, как уютно они приспособились к всезахлестывающей лжи, как могут с серьезным видом читать советские газеты и слушать радио вместо того, чтобы дико, по-собачьи, выть от обиды и омерзения. Я никак не мог понять, почему на небольшое количество испорченной пищи желудок человека немедленно реагирует несварением, а в то же время мозг в состоянии изо дня в день безнаказанно переваривать тонны протухшей насквозь информации.

Несколько факторов, однако, удерживали меня от того, чтобы впасть в полное безумие. Это, во-первых, мудрые и добрые увещания моей мамы, которая, будучи сама отчаянной пессимисткой, для меня всегда находила слова ободрения. И, во-вторых, поддержка долготерпеливой Фани. А кроме того, спасали меня философские занятия и общение с природой.

Я все больше приближался к иудаизму. Вопросы гносеологии продолжали меня занимать, я по-прежнему размышлял и много читал о соотношении рационального и надразумного, но все более ясным становилось, что отделить проблему еврейства и иудаизма от фундаментальных и, казалось бы, абстрактных проблем философии невозможно и что, напротив, в их глубокой связи заключено решение всех вопросов.

Мне катастрофически не доставало познаний по иудаизму. Я стал ходить каждую субботу в синагогу. То, что я увидел и услышал там, много говорило моему сердцу, хотя и оставалось в большей мере непонятным. В частности, я не имел никакого представления о внутреннем строе и порядке следования молитв. Помню, что меня очень поражала слаженность и упорядоченность службы и то, как безупречно все участники знают свои обязанности и время их исполнения. Я был убежден, что службе предшествуют специальные репетиции.

В это время я еще продолжал по субботам ездить в городском транспорте, включал и выключал свет, но все же старался посвящать свободные часы в субботу занятиям, которые казались мне хоть как-то связанными с еврейской темой, читал книги по еврейской истории или даже просто подолгу рассматривал еврейский алфавит.

Я достал самоучитель, и мы с Фаней стали учить иврит. Я охотился также за молитвенниками и прочими еврейскими религиозными книгами с русским переводом. Раздобыть такие книги было страшно трудно, но, что еще хуже, переводы эти очень мало помогали. Я чувствовал, что тяжеловесный, очень похожий на церковно-славянский, язык этих переводов открывает лишь самую поверхность смысла священных книг, но истинное их содержание, живая их душа оказываются при этом безнадежно утраченными. Поэтому я упрямо продолжал перечитывать по десять и двадцать раз оригинальные древнееврейские тексты, и хотя из десяти слов я с трудом понимал одно, это объясняло мне больше, чем переводы.

Здесь каждое простое и скромное слово таило в себе, помимо обиходного житейского смысла, целый мир глубинных ассоциаций и философских категорий. От этих слов веяло ароматом простой мудрости и чистой святости, в то время как в русском переводе глубина утрачивалась, святость оборачивалась святошеством, чистота и прямота — ханжеством...

Я также все более остро ощущал потребность в комментариях к учению, в том, чтобы кто-то мудрый и постигший глубины Торы помог бы мне, руководил бы мною. Не имея такого наставника, я часами бился над одной какой-нибудь фразой, не представляя ее связь и соотношение с другими частями учения.

Как бы там ни было, соприкосновение с Торой исцеляло меня от отчаяния, поднимало над временем, пространством, границами, соединяло с Израилем таким единством, над которым КГБ не было властно.

Еще одним источником оптимизма и исцеления была, как я уже упоминал, природа.

Уже в детстве, во время прогулок с отцом по лесам и полям, окружавшим ферму, у меня установились интимные отношения с природой. Она была для меня не декорацией, не произведением искусства, вызывающим восторг, а живым партнером во взаимной любви. И каждый раз, когда люди обижали меня, любовь эта особенно усиливалась. Меня звали густые мшистые леса, пропитанные сыростью и запахом грибов, манили пестрые от цветов и бабочек луга.

Каждый год, лишь только пробуждалась весна, светлая тоска по природе гнала меня прочь из городского мира мертвых и безразличных камней в поля и сады — туда, где рождалась и торжествовала жизнь, где запахи оживающей земли пьянили и плавили душу, исторгающую восторженные гимны Творцу. Страх опоздать на праздник весны владел мною. Праздник этот слагался из множества событий — одно значительней другого, и мне казалось преступлением не быть свидетелем каждого из них.

Однажды утром деревья просыпались в тончайшем кружеве липких младенческих листочков, потом исступленно цвела черемуха, потом пели соловьи, начиная, как им и полагается, ночью, но, увлекшись, продолжали и весь день напролет, потом распускалась сирень, потом самыми последними зеленели задумчивые, солидные дубы, потом... Так кончалась весна, отлетая вместе с тополиным пухом. Зацветали липы, и медовый их аромат проникал в города, заливал улицы, струился в окна, побеждая гарь и смрад.

Буйство в природе уступало место деловитости — ведь столько надо успеть за короткое северное лето. С восходом солнца начинали трудиться и птицы, и насекомые, и те из людей, кто помнят еще, что хлеб растет в полях, а дождь не только мешает прогулкам, но прежде всего благословен для урожая.

Особенно любил я летний предзакатный час, когда лучи низкого солнца, проходя через листву деревьев и насыщаясь изумрудом, заливают землю неярким светом и спокойствием. Затихают последние ветерки. Какое-то время еще доносится с недалекого хутора мычание возвращающихся с пастбища коров и лай собак, а потом и эти звуки стихают. Земля дрожит умиротворенная, усталая от дневных свершений и довольная ими. Еще немного — и поползут притаившиеся в холодных низинах туманы, затрепещут от пробудившихся ночных ветров стволы, оживут таинственные ночные шорохи. Но пока — тишина, и чудится, что мир задумался о гармонии и мудрости творения.

Те же настроения вызывала осень, когда успокоенность и умиротворенность летних предзакатных часов словно растянута на многие недели — от того времени, когда обессиленное от летних трудов солнце начинает ласкать и румянить поспевающие яблоки, а в воздухе плывут длинные нити паутины, и вплоть до того, как покрывается изморозью красно-золотой ковер опавших листьев, пахнувший, как крепкий настой чая.

Целомудренность и чистота природы врачевали мою душу от яда цинизма, жестокости и лжи, которым приходилось дышать изо дня в день. Но сверх того, созерцание лесов и полей вело к мыслям об их Творце и порождало безграничную благодарность и потребность молиться Ему.

По мере того, как очень медленно — в течение нескольких лет — я освобождался с помощью этих целебных влияний от депрессии и ощущения бессмысленности и безнадежности, я продвинулся также немного в практическом соблюдении еврейских законов. В частности, я разобрался, наконец, в основных правилах кошерности. Я купил себе несколько новых тарелок, ложек и вилок. Долгое время я вообще воздерживался от мяса, а потом нашел, наконец, подпольного мясника, продававшего от случая к случаю кошерное мясо. Соблюдение кошерности приносило, несмотря на все связанные с этим неудобства, огромное нравственное удовлетворение, чувство честно и добровольно выполненного долга.

К началу 60-х годов в Риге было уже несколько десятков евреев, достаточно открыто проявлявших свой интерес к Израилю. Они обменивались израильскими книжками, брошюрами, календарями, изготавливали копии старых книг Бялика и Жаботинского, собирались вместе, чтобы слушать израильские пластинки или учить иврит.

Мы с Фаней участвовали в многочисленных встречах такого рода, хотя нас несколько коробил их салонный стиль, смешение святого и вечного с проявлениями убогого мещанства, а иногда — и с самым банальным флиртом.

Большое влияние на мироощущение многих евреев оказали поимка и суд над Эйхманом, всколыхнувшие с новой силой воспоминания о такой еще недавней трагедии еврейского народа. Многие из тех, кто и без того регулярно слушали израильское радио, в дни процесса не отходили от приемника в продолжение всего вечера, слушая подряд все передачи.

Примерно в то же время началась в Риге известная теперь уже многим румбульская эпопея. «Румбула» — это название маленькой железнодорожной станции в 12-ти километрах к востоку от Риги. Название это вошло в страшный ряд таких слов, как Аушвиц, Трешлинка, БабиЙ Яр, Понары.

В сосновой роще около станции Румбула осенью 1941 года немцы при ревностном участии латышей уничтожили население Рижского гетто. Девять гигантских могил приняли в себя почти пятьдесят тысяч жертв. Место это оставалось совершенно заброшенным и почти никому не известным. Наконец, группа евреев взялась за приведение в порядок этого братского кладбища. С помощью Беллы Мартинсон, чудом уцелевшей и выползшей из одной из этих могил почти за двадцать лет до описываемых событий, они разыскали место. Могилы выделяла лишь особенно густая и высокая трава, разросшаяся на них.

Поначалу группа была немногочисленна. К ней относились юрист Гарбер с женой, инженер Гец, юный, пламенный и непокорный Марик Блюм (сменивший впоследствии в Израиле фамилию на очень подходящую ему — Лапид, что значит — факел), архитектор Рахлин с сыном (этот умный, пылко влюбленный в Израиль мальчик был впоследствии жестоко травим советской тайной полицией и трагически погиб), художник Кузьковский (ныне покойный), Эзра Руссинек и другие.

Истинной душой и движущей силой всего начинания был Самуил Цейтлин, которого все знали под именем Буби. Буби был связан с сионизмом еще будучи юношей, до того, как Советы пришли в Латвию. Потом он воевал в составе Красной Армии, был искалечен, прямо в госпитале его арестовали и водворили в лагерь на долгие годы. Вернувшись, наконец, в Ригу, Буби оставался холостяком. Он работал зубным техником, что, не очень обременяя, обеспечивало ему скромное существование.

Он знал всех и вся, просиживал в гостях у друзей и знакомых чуть ли не до рассвета, рассказывая без конца лагерные истории, споря на актуальные еврейские темы и опустошая за ночь целую бутылку водки. Он слыл большим чудаком, потешался над всеми, в том числе и над самим собой. Он ходил в изодранном в клочья пальто, поддерживал трогательные отношения со своими бывшими коллегами по лагерю, включая каких-то попов. Но при всех этих чудачествах он умудрялся помогать десяткам еврейских семей, распространять сотни еврейских книг.

Румбула стала делом его жизни. Он старался добиться максимально возможной поддержки советских властей и чудом выманивал у них решения, узаконивающие строительство мемориала, и даже деньги.

Работы в Румбуле стали еженедельными. Теперь каждое воскресенье собиралось несколько сот людей, среди них множество совсем юных мальчиков и девочек, родившихся уже после войны. Прокладывали дорожки, очищали место, таскали землю. Царила удивительная атмосфера солидарности, братства, духовного подъема.

Поначалу меня очень угнетало пребывание в этом страшном месте, где на каждом шагу земля исторгала то кость, то детскую туфельку. Скрип качаемых ветром сосен оборачивался для меня стонами расстрелянных. Даже придя домой, я долгие часы не в состоянии бывал вернуться к обычным делам. Таская тяжелые носилки со щебнем, я думал о том, с каким восторгом я делал бы это, если бы мы вот так, в кругу братьев, строили не кладбище, а, например, синагогу. Меня поражало, как могут эти нежные, с еще не пробившейся бородой мальчишки распевать песни, находясь в этой роще смерти и отчаяния, а иногда даже беззаботно грызть яблоки, стоя прямо на могиле... Но постепенно я привык, научился подавлять свои переживания, а то, что эти мальчишки, работая здесь, быстро прогрессируют в своих еврейских чувствах и устремлениях, представлялось мне серьезной компенсацией за трагедию гетто и лучшим памятником погибшим.

Закончив работу, люди собирались вместе. Кто-нибудь прочитывал или пел заупокойную молитву, другой говорил краткую импровизированную речь, третий читал свои стихи. От раза к разу речи становились смелее. Дух румбульских воскресений довлел над многими семьями в Риге, а постепенно — через родственников и друзей — стал распространяться и в Москву, и в Ленинград.

Не потребовалось много времени, чтобы Румбула привлекла внимание властей. Отныне мы работали под пристальным надзором не только тайной, но и явной милиции, а также групп курсантов военных училищ. Митинги после окончания работы разгонялись. Самодельные монументы на могилах — вроде появлявшегося снова и снова огромного маген-давида, опутанного колючей проволокой, — немедленно уничтожались.

Особенную бурю вызвала попытка установить надгробный камень, на котором было написано на идиш: «Ди карбонес фун фашизм» — «Жертвы фашизма». Власти требовали, чтобы надпись была сделана по-русски и чтобы погибшие именовались «советские граждане». Говорили, что по этому поводу в Ригу выезжала из Москвы специальная идеологическая комиссия Центрального Комитета коммунистической партии.

На уже готовый камень с еврейской надписью был наложен арест. Однако Буби с друзьями ночью выкрали камень из мастерской, установили его на подготовленном месте и сфотографировали. На завтра фотографии эти появились в заграничных газетах, и власти решили отступить.

Камень этот стоит и поныне.

Два раза в год — осенью, в годовщину уничтожения гетто, и весной, в годовщину победы над Германией, — на Румбульском кладбище стали собираться тысячи евреев. Власти то разгоняли митингующих, арестовывая выступавших, то устанавливали вокруг вопящие громкоговорители так, что ораторы не слышали собственного голоса, то оцепляли всю рощу, вводя в нее танки и пушки, и всем пытавшимся приблизиться говорили, что тут происходят военные учения.

Во всех случаях, однако, власти оказывались в проигрыше: их противодействие разжигало чувства даже самых равнодушных.

Несомненно, что Румбула была одним из важных факторов в пробуждении «молчаливых евреев» Советской России, пробуждении, приведшем впоследствии многие тысячи из них к эмиграции в Израиль.

По мере того, как я оправлялся от шока, вызванного провалом попытки нашего спасения через Польшу, и смирялся с мыслью, что нам, вероятно, еще долгие годы придется провести в Советском Союзе, я начинал вспоминать и о своей совсем заброшенной научной работе. Я стал подумывать о новой диссертации, взамен прежней, принесенной в жертву идее отъезда. Кто-то из друзей сказал мне, что в Институте физики Латвийской Академии наук начали развивать новое направление — магнитную гидродинамику.

Этот термин был совершенно новым для меня, но поскольку он включал также слово гидродинамика, было вполне вероятно, что я могу найти себе применение в этой области. Когда я пошел в библиотеку, чтобы выяснить, что такое магнитная гидродинамика, оказалось, что даже в больших энциклопедических словарях этот термин еще не значится. Все же я выяснил, в конце концов, что магнитная гидродинамика — это учение о движении электропроводящих жидкостей в присутствии магнитных полей, что это учение базируется на двух классических науках — гидродинамике и электродинамике и что его приложениями являются астрофизика, геофизика, техника измерений, а в перспективе — металлургия и производство электроэнергии.

Я пошел в Институт физики, рассказал о своем прошлом опыте в измерении скоростей течения и турбулентных пульсаций, и, к моему огромному удивлению, руководитель одной из лабораторий и директор Института буквально ухватились за меня. Я был уверен, что из-за запятнанной биографии меня не возьмут на работу в Академию, и поэтому сказал, что в настоящее время не могу порвать с техникумом, но согласен работать в Институте физики по совместительству, на полставки. На том и порешили.

Как новая отрасль науки магнитная электродинамика была полна совсем еще неизведанных проблем и предоставляла широкие просторы для инициативы исследователя. Приступая к работе, я никак не ожидал, что уже через несколько месяцев мои эксперименты принесут столь обильные результаты. За какой-нибудь год я опубликовал больше десятка статей, читал доклады на нескольких конференциях.

В самом начале 1962 года я защитил в Московском авиационном институте диссертацию по турбулентным магнито-гидродинамическим течениям. Я все больше времени проводил в стенах Академии, а среди моих знакомых становилось все больше представителей научного мира не только Риги, но и Москвы и Ленинграда.

В связи с моей работой мне приходилось много читать не только по гидродинамике, но и по различным разделам физики и астрофизики. Все это вновь возвращало меня к анализу предназначения и пределов возможностей естественных наук, к сопоставлению и противопоставлению «мировой культуры и науки» и учения моего народа, к сравнению людей, прославленных в науке, с мудрецами, прославленными в еврействе.

Я все больше приближался к формулировке своего собственного единого взгляда на мир, собственного мировоззрения. Но надо было еще собрать и систематизировать разрозненные мысли, изложить мою философию письменно. Для этого, с одной стороны, не было времени, с другой — обидно было писать для того, чтобы потом все сжечь или хранить записи зарытыми в подвале, пока они не погибнут от сырости. Держать же дома рукопись, полную опровержений ленинизма, теперь, когда по настоянию директора я стал штатным работником Института физики, широко сотрудничавшего с засекреченными «почтовыми ящиками», представлялось достаточно рискованным, особенно учитывая польскую историю.

Достаточно того, что я участвовал в израильских вечерах, работал в Румбуле, а по субботам ходил в синагогу.

В начале 1963 года я сломал себе ногу и оказался в вынужденном отпуске продолжительностью в несколько месяцев. И тут искушение излить на бумагу плоды своих многолетних размышлений взяло верх.

Я писал дни и ночи, зачеркивал, рвал написанное и снова писал. Всю работу я закончил за несколько недель. Когда я уже почти кончил писать, мы получили известие, что один мой родственник, живущий в Тель-Авиве, собирается приехать в гости. Вскоре выяснилось также, что несколько позже приезжает родственница с Фаниной стороны. Сама перспектива встречи с живыми израильтянами, да еще родственниками, была очень волнующей. Но поскольку все мои мысли были тогда прикованы к рукописи, мною овладел соблазн использовать предстоящую встречу для того, чтобы переслать ее в Израиль. От одной мысли об этом замирало сердце. Нет меры, чтобы выразить владевшее мною благоговение перед Священной землей и всем, что было с ней связано. Я свято берег не только марки и открытки из Израиля, но даже случайно попавшие ко мне обертки от конфет. А тут вдруг стало возможным, что в Священную землю попадет мое любимое, так долго вынашиваемое детище! Я заново переписал свое произведение в толстую тетрадь и стал ждать приезда родственников.

Не стану описывать всех волнений встречи. Что же касается моей рукописи, то он, родственник, руководствуясь житейской мудростью, свойственной его возрасту, сказал, что, как ему кажется, риск и возможные неприятности для меня слишком велики, чтобы пускаться в это предприятие. Было обидно, но пришлось согласиться.

Ко времени приезда Фаниной родственницы я разработал новый план переправки рукописи и пришел к выводу, что безопаснее и надежнее всего, если во время своего пребывания в Москве она передаст рукопись в израильское посольство.

Стукая по клавишам пишущей машинки одним пальцем, я отпечатал рукопись на тончайшей папиросной бумаге, и теперь вся она умещалась в обычном почтовом конверте.

Мы с Фаней приурочили наш отпуск ко времени приезда родственницы и, поவிдаввшись с ней в Риге, выехали в Москву за несколько дней до ее приезда туда.

В Москве мы навестили ее несколько раз в гостинице, где вели беседы на самые безобидные нейтральные темы, и однажды, когда она вышла на улицу, чтобы попрощаться с нами, я назначил с нею встречу в большой аптеке на улице 25 Октября. Встреча состоялась, я объяснил ей свою просьбу, и она взяла рукопись. Назавтра рукопись была передана в посольство. Все прошло просто и гладко. На этом стоило бы и остановиться, но жажда дальнейших встеч с израильтянами обуревала меня. Быть может, эта жажда отчасти подстегивалась чувством некоторого разочарования, оставшегося от уже состоявшихся встреч. Дело в том, что хотя я к тому времени был достаточно начитан и наслышан о жизни в Израиле, я все-таки ожидал, что еврея-израильтянина должен окружать какой-то ореол святости или хотя бы избранности. Его поведение, образ мышления и интересы должны выделять его из среды любых других людей... Этого, увы, не было, и я убеждал себя, что те, с кем я познакомился, — не характерные представители.

Я слышал, что многие иностранцы посещают в Москве ресторан «Арагви», и вечером того дня, когда моя рукопись попала в посольство, мы пошли в этот ресторан. Я уже тогда ничего не ел в подобных местах, но для вида заказал что-то и упорно ковырял вилкой в тарелке. И вдруг — сердце мое замерло — соседний столик заняли две пары, громко говорившие на иврите. На пиджаках мужчин были маленькие белые значки с синими «маген-давидами».

В ресторане, при всех, я не решался заговорить с ними, и поэтому решил, что мы дождемся, пока они поужинают, и встретим их на улице.

Увидев, что они заканчивают ужин, мы поспешно расплатились и выскочили на улицу. Я страшно волновался. Скоро вышли и они. Мы сказали «шалом» и спросили на иврите, израильские ли они туристы.

Оказалось, что они не туристы, а сотрудники посольства. Это делало встречу еще более интересной, но, конечно, и более рискованной. Они предложили нам пройти. Было уже близко к полуночи, и улица Горького была довольно пустынно. Теплая безветренная ночь, насыщенная ароматом отцветающих лип, навевала спокойствие, но во мне все бушевало от возбуждения. Подумать только: я гуляю по центру Москвы с израильским дипломатом! Моше Зимрат — так он представился — нежно вел меня под руку и отвечал на извергаемые мною бесчисленные вопросы. Фаня шла позади со вторым дипломатом и женами обоих. Я расспрашивал Моше о состоянии духа в Израиле, о воспитании детей и о многом-многом другом...

Меня немного смущало при этом, что получасом раньше, как я сам видел, вся компания с огромным аппетитом поела самые некошерные блюда, но я старался не думать об этом.

Я рассказал Моше, что передал столь дорогую мне рукопись в посольство, и просил проследить за ее судьбой.

Фаня между тем рассказала, что мне бы очень хотелось иметь Пятикнижие и молитвенные сборники на праздники — «махзорим» с русским переводом. Ей обещали все это принести в ближайшую субботу в синагогу на улице Архипова, что снова несколько озадачило меня, так как я уже знал тогда, что в субботу запрещается переносить какие бы то ни было вещи.

Когда мы упомянули о том, что из Москвы отправляемся в Закавказье, чтобы там провести остаток отпуска, наши новые друзья сообщили, что тоже едут через несколько дней отдыхать на юг, в Ялту, и предложили нам поехать в Закавказье через Крым, чтобы там снова увидеться. Лучше и безопаснее всего встречаться и беседовать на пляже — пояснили они — там всегда полно народу, все в купальных костюмах, и трудно кого-либо заметить и узнать.

В субботу мы получили в синагоге через сотрудников посольства талес и книги, как было условлено. Теперь предстояло решить, ехать ли в Ялту. Трезво рассуждая, это было безумием, но соблазн был столь велик, что мы решились.

Фаня была на четвертом месяце беременности и по дороге почувствовала себя плохо. Приехав в Ялту, мы предприняли отчаянные попытки получить номер в какой-нибудь гостинице, но, конечно, это оказалось невозможным. Тогда я решился позвонить в гостиницу для иностранных туристов «Украина», в которой должны были жить Зимраты.

Я звонил на всякий случай, нисколько не надеясь на успех, но неожиданно оказалось, что там можно получить на два дня номер «люкс».

Было ясно, что после всех прошлых контактов и при моей нынешней работе нам нельзя было идти в эту гостиницу. Но Фаня едва стояла на ногах, и я решил пренебречь всеми опасениями.

На следующий день я подкараулил Зимратов на гостиничной лестнице, и мы договорились встретиться еще через день на «Золотом пляже». Мы провели в тот день на пляже несколько счастливых часов с Зимратами, говорили, смотрели израильские открытки, а на прощание я записал и передал им наш адрес и адреса родственников в Израиле.

Когда мы вернулись в гостиницу, я заметил около стола администратора двух бравых молодцов, которые мне с первого взгляда очень не понравились.

В тот же вечер мы отплыли на теплоходе в Сухуми. Эти молодцы из гостиницы, однако еще долго смущали наше воображение и служили пищей для всяких догадок и не очень приятных предположений.

Зимратов я встречал позже в России еще дважды и каждый раз пытался выяснить, что с моей рукописью, но они ничего не знали. Первый раз это было на концерте израильской пианистки Пнины Зальцман в Ленинграде, второй — на международном кинофестивале в Москве, где демонстрировался также израильский фильм «Помни».

Замечу, что фильм произвел на нас удручающее впечатление как своей бездарностью, так и еще больше тем, что в нем процесс Эйхмана и воспоминания об ужасах гитлеровских лагерей кощунственно преподносилось на фоне сцен из совместной жизни еврея и француженки в современном Израиле.

В Сухуми мы близко подружились с семьей грузинских евреев по фамилии Крихели, и впоследствии я несколько раз приезжал к ним в гости на время больших годовых праздников — Рош-а-Шана и Йом-Кипур, чтобы проводить эти дни в еврейской обстановке и без опасений ходить в синагогу.

Итак, рукопись была там, в Израиле, и это согревало и успокаивало меня. Даже мысль о том, что быть может нам суждено до конца дней оставаться на чужбине, казалась менее пугающей. Частица меня как-никак была уже в Священной земле.

Я продолжал регулярно ходить в синагогу по субботам утром. Иногда, как и прежде, одиноко стоял в заднем углу большого верхнего зала и слушал хазана, но все чаще предпочитал спускаться в подвал к хасидам. Там мое место было между двумя пенсионерами — Шмуэль-Аароном Рафельсоном, впервые научившем меня ориентироваться в молитвеннике и находить тот текст, который в данный момент читают, и ныне покойным Нохемом Бессером, терпеливо отвечавшим на мои бесчисленные вопросы по иудаизму, один наивнее другого. Бессер, как я узнал позже, тайно обучал Торе и законам не один десяток мальчиков и девочек. Эти великолепные, застенчивые и добрые люди сослужили мне неоценимую службу в поисках еврейства, и я бесконечно признателен им.

В одну из суббот в начале 1964 года перед молитвой ко мне подошел человек лет сорока с черными усами и какими-то необыкновенно живыми детски-чистыми и вместе с тем чуть жуликоватыми голубыми глазами.

Темперамент и вдохновение переполняли его. Он стал настаивать, чтобы я пришел к нему домой, обещая рассказать много важного и интересного и дать хорошие еврейские книги. Он тут же осведомился, совершаю ли я ежедневное возложение «тфиллин», и поскольку я даже не знал, что это, стал еще настойчивее звать меня к себе.

Он ушел, предложив мне осведомиться о нем у любого из посетителей синагоги, так как «все знают, кто такой Нотке с усами».

Он оставил меня в смешанных чувствах. Прежде всего, я привык к тому, что еврейские книги не предлагают во всеуслышание, в присутствии свидетелей. Это невольно настораживало и заставляло думать, не провокатор ли этот человек. С другой стороны, было в нем что-то очень привлекательное.

Я спросил о нем у Рафельсона, и тот ответил: «Он из хасидов, вы можете пойти к нему».

Меня удивило, что значит — «из хасидов», ведь все это отделение синагоги называлось хасидским. Однако я постеснялся спросить, и, таким образом, градации и нюансы понятия «хасид», как, впрочем, и само понятие осталось для меня загадкой еще надолго.

В марте, за 9 дней до Пасхи, у нас родился сын. Мы назвали его двойным именем Герц-Даниэль. Первое из имен — в память о моем отце, второе — очень нравилось Фане. Чиновник в «Бюро регистрации актов гражданского состояния» наотрез отказался записать двойное имя.

Не помогло и обращение к высшему начальству и ссылки на то, что, например, у азербайджанцев записывают четыре-пять имен и в конце неизменное «оглы».

Мальчик был записан под именем Герц, мы стали звать его уменьшительно Гека, но, конечно, при обрезании ему дали оба имени.

Накануне обрезания я пошел пригласить Нотке. Это был подходящий случай, чтобы воспользоваться, наконец, его предложением, однако, он почему-то не смог прийти. Когда возраст ребенка стал приближаться к месяцу, Нохем Бессер рассказал мне о существовании обряда «Пидион Габейн» — символического выкупа ребенка у представителя священнического сословия — когена. Он посоветовал мне пригласить для этой цели Нотке, который принадлежит к коэнам.

Обычай казался мне странным и даже, может быть, немного нелепым. Удивительно, что в отношении обряда обрезания я ничего подобного не испытывал. Но таково уж свойство человеческой психики, что непривычное кажется нам неразумным и диким. Впрочем, я подавил свои сомнения, пригласил Нотке вместе с Бессером, и все прошло по правилам.

С этих пор Нотке властно вторгся в нашу жизнь, вызывая часто неудовольствие Фани тем, что он так «давит». Однако теперь, оглядываясь назад, я испытываю к Нотке чувство огромной благодарности, да и тогда меня неудержимо влекло к нему. Он символизировал для меня квинтэссенцию иудаизма, Торы, еврейского образа жизни. При посредничестве Нотке мне открывался совершенно новый мир. Кроме всего прочего, он, конечно, очень незаурядная личность, хотя с позиций того круга, к которому мы принадлежали, он был простым, необразованным евреем.

Меня поражала цельность его мировоззрения и бескомпромиссное согласование поведения в жизни с этим мировоззрением.

Радостно было видеть человека — очень земного, любящего все красивое, вкусное и вместе с тем постоянно вдохновленного идеей. Не то, чтобы он олицетворял собою страдальца за идею — он терпеть не мог жертв, — просто он не мыслил себя вне постоянного постижения и воплощения этой идеи, и потому, если для этого приходилось чем-то поступиться, то это была не жертва, а естественное и единственно возможное поведение. В конечном счете, однако, он ежедневно делал многое такое, что обыватель счел бы огромной жертвой, невыносимым игом.

Меня поражало, как этот человек, не кончавший университетов, мог часами говорить о философских трудностях объяснения творения субстанции из ничего, о времени как одном из измерений телесного мира и о вневременности высших духовных миров, о Б-жественности души еврея и о необходимости того, чтобы эта душа властвовала и управляла телом, которое должно быть не отвергнуто, но облагорожено соблюдением заповедей.

Я спросил его однажды, как он пришел ко всему этому, а он рассмеялся в ответ:

— Я говорю это не от себя. Все это написано.

— Где?

— Хотя бы вот в этой книге, которую я изучаю. Он показал мне книжку карманного формата.

— Это «Тания». Главная книга Старого Ребе.

— И вы ее изучили?

— Нет, но я изучаю ее.

— Как давно?

— Несколько десятков лет.

Это было очень странным для меня, привыкшего изучать по несколько томов в течение нескольких недель или даже дней при подготовке к каждому из многочисленных экзаменов, которые я в своей жизни сдавал.

Часто он ссылался на Кабалу, на книгу Зогар. Признаюсь, меня это пугало и корбило. Дело в том, что я, конечно, не только не читал книги Зогар, но даже никогда и не видел ее. Однако я помнил несколько упоминаний о Кабале у Шолом-Алейхема, в частности, в рассказе «Бузя», и получалось, что Кабала — это какая-то очень примитивная, детски-наивная мистическая сказка.

Дальше дело пошло еще туже, особенно когда он начал «давить» в отношении исполнения некоторых таких заповедей, о которых раньше мне не доводилось и слышать.

Уже в одно из первых моих посещений Нотке преподнес мне бархатный мешочек с «филлин» и настоял, чтобы я тут же надел их под его руководством и по его наставлениям. Он объяснил, что надевать их надо каждое утро, исключая субботу и праздники. Сознаюсь, мне было очень трудно принять это.

Тысячи голосов внутри меня завопили, завозражали. Все, что было во мне от советской школы, кричало: «Нет!», все, что осело в моем разуме от советских университетов, вопило: «Никогда!», все, что преломилось во мне от атеистической среды, возмущалось и протестовало: «Это примитивно!»

Верно, я уже очень далеко продвинулся в неприятии своего прошлого воспитания и в приобщении к еврейству, но еврейство, иудаизм все еще представлялись мне пищей для души и разума, возвышенной философской системой — а тут вдруг такая странная, сугубо материальная, телесная обязанность.

Правда, и многое из того, что было давно понято и принято, также относилось к сфере обыденного и телесного, как, например, кошерная пища, многие из заповедей о субботе, обрезание и т.д., однако все это было привычным, широко известным и воспринималось без размышлений.

Обоснование заповеди о «тфиллин» ссылками на изречения из Пятикнижия — «...И повяжи (эти слова) на руку свою и пусть будут украшением между глаз твоих» — также казались мне несостоятельными, ибо эти изречения я был склонен воспринимать сугубо аллегорически.

Дело в том, что тогда я не только совершенно не знал содержания и значения Устного Учения, объясняющего Пятикнижие, но просто не подозревал о его существовании.

Все же настойчивость Нотке и еще больше какой-то внутренний голос заставили меня продолжать ежедневное исполнение заповеди о возложении «тфиллин».

Очень скоро я начал чувствовать крайнее беспокойство, страдать от сильнейшего ощущения невыполненного долга, какого-то изъяна души, если по каким-либо причинам мне не удавалось возложить «тфиллин» с самого утра. Помню, как однажды я приехал в Ленинград на какую-то конференцию.

Поезд прибыл рано утром, но в течение целого дня я не сумел получить место в гостинице ни по знакомству, ни за взятку. Я целый день ничего не ел, стоял жестокий мороз, и, бегая из одной гостиницы в другую, я страшно продрог, но все это не ощущалось на фоне ужаса от того, что солнце склоняется все ниже и ниже, а я еще не надевал «тфиллин». Каким-то чудом я получил заветный ключ от комнаты за три минуты до захода солнца и успел все же надеть «тфиллин».

То же самое повторялось и в отношении других заповедей. Например, в первые дни после того, как я стал облачаться в малый «талит» с кистями «цицит» по углам, я чувствовал себя просто клоуном, несмотря на то, что «цицит» были тщательно заправлены под одежду и никому не видны.

Однако через месяц ощущения сменились на противоположные. Без «цицит» я ощущал себя просто голым. Замечу, что иногда, из-за моей невнимательности, эти кисти оказывались торчащими из-под одежды, и сотрудники Академии наук нередко хватали меня за них и удивленно спрашивали, что это такое, или почему я ношу нижнее белье, изодравшееся до того, что свисают отдельные нити.

Если все эти трудности в отношении практического исполнения заповедей испытывал я, который еще задолго до этого в своей рукописи, пересланной в Израиль, убеждал себя и других в жизненной необходимости исполнения всех заповедей Торы, то каково же было Фане, которая, в лучшем случае, являлась благосклонной читательницей моих писаний. А тут вдруг и кошерная кухня, и субботние свечи, и субботний покой, и омовения в микве...

И все же, хоть и с трудом, но вечное побеждало наносное, чужое. Чем больше я входил в эту новую жизнь, тем больше ощущал себя причастным к миссии моего народа. Совсем иначе воспринималось Учение, те обрывки сведений из Торы, которые мне были известны прежде, засветились новыми гранями, а тем временем на моем горизонте появлялись все новые и новые сокровища — комментарии РАШИ, Мишна, Шулхан-Арух. Талмуд все еще оставался закрытым для меня, но то и дело мне удавалось почерпнуть крупички из него при посредстве цитат и ссылок в других книгах.

Постепенно и очень осторожно вводил меня Нотке в круг своих друзей. Все они были такими же одержимыми, как он сам. Для всех компромисс, приспособление к советской действительности в ущерб Шулхан-Аруху были не то что недопустимы, а просто не существовали даже как потенциальная возможность.

Эти люди разыскивали еврейских детей, юношей, девушек, которые проявляли хоть какой-то интерес к еврейству, с тем, чтобы помочь им. Дело это было для друзей Нотке столь важным, что ради него они забывали о еде и питье.

Под их влиянием многие пожилые люди, успевшие еще в свое время учиться Торе и древнееврейскому языку, превратились в тайных учителей для детей.

Из соображений безопасности они никогда не занимались с двумя или большим числом детей одновременно, но так как большинство из них были

пенсионерами, располагавшими в достатке свободным временем, они имели много учеников.

Как измерить тот вклад в пробуждение советского еврейства, который внесли эти безвестные скромные люди? Я уже упоминал Нохема Бессера. Другим неутомимым учителем был Градус (к стыду своему, не помню его имя — только фамилию). Этот застенчивый, маленького роста человек не страшился ни стужи, ни советского закона, неутомимо шагая из дома в дом. Его, к сожалению, тоже уже нет в живых. Не сбылась его мечта о переезде в Израиль, которую он так лелеял. Были еще и многие другие. Они и сейчас живы и трудятся (да продлятся их годы!), и потому я не стану называть их имена.

Жилища моих новых друзей-хасидов (часто это бывала лишь одна комната в большой коммунальной квартире) были стерильны от советских влияний, и дети и внуки их с малолетства дышали воздухом, наполненным любовью и преданностью еврейскому народу и Учению.

Вместе с тем они все жили надеждой на отъезд в Священную землю, причем необходимость отъезда, как и надежда на его осуществление, были для них одинаково несомненными. Вместе с тем их постоянно окружала какая-то тайна, которая была чем-то большим, чем просто конспирация.

Я чувствовал, что какая-то сторона их жизни все еще недоступна мне. Это ощущение подкреплялось еще больше тем, что каждый из них отдавал в благотворительную кассу до пятой части своего, иногда очень скромного, дохода.

Мои пожертвования тоже принимались, но куда они шли, оставалось загадкой. Лишь много позже мне рассказали о существовавшей в те годы тайной системе еврейского образования и воспитания, которая помогла многим детям вернуться в лоно еврейства и остаться в нем.

Моих новых друзей отличало от знакомых мне людей с националистическими и сионистскими взглядами очень многое: их цельность, глубина познаний в Торе, житейская мудрость, четкое представление о цели и смысле жизни.

Благонадежность этих людей была очевидной, так как просто немислимо было заподозрить в предательстве, в сотрудничестве с КГБ человека, который во имя еврейского идеала, вопреки всем объективным трудностям, сообразует каждый свой шаг с Учением, основывает на нем жизнь своей семьи.

Плоды их усилий были зримы, они верили, что главная цель в том, чтобы еврей оставался подлинным евреем и помогал другим находить путь возвращения в еврейство, где бы он ни был, куда бы ни забросила его судьба. И они знали, как это осуществить.

Стремление этих людей в Израиль вытекало из их мировоззрения естественно и органично.

Наконец, я узнал, что у них есть духовный вождь — Ребе. Собственно, он не только их вождь, а наставник всех евреев, поскольку то, чему он учит, к чему призывает, сводится к необходимости более углубленно изучать Тору, более скрупулезно и с большим духовным подъемом исполнять заповеди, воспитывать в себе и в детях своих любовь к народу, к каждому еврею как носителю частицы Б-га. Я узнал, что Ребе именуется Любавичским (от названия местечка Любавичи в Белоруссии), а мои новые друзья были соответственно любавичскими хасидами, иначе приверженцами движения ХАБАД (от начальных букв трех понятий: хохма — разум, мудрость, бина — постижение, даат — знание, которые играют особо важную роль в философии этого движения).

Со временем мне все больше открывалась необычайная жизненная сила и стойкость как Учения, так и движения ХАБАД. Страшные жернова ЧК (ГПУ, МГБ, КГБ) и советского пропагандистского аппарата, которые за пятьдесят лет перемололи все и вся, оказались бессильны сломить ХАБАД, хотя временами действовали против него особенно неистово.

Я познакомился со многими хабадниками, о других услышал удивительные истории. Это были необыкновенные люди — земные, ни от чего не отрешенные, но способные благодаря слиянию непоколебимой веры и ясного мировоззрения с принципами поведения в повседневной жизни преодолеть и побороть непреодолимое. Я узнал о легендарном Менделе Футерфасе, вызволившем тысячи евреев из советского плена. Сам он оставался в Советском Союзе до завершения этой неправдоподобной акции, был схвачен, осужден на казнь. Ожидая исполнения приговора, он сидел в одиночной камере и пел русские песни, выбирая из них те, в которые можно было вложить глубокий иносказательный смысл. В конце концов ему заменили казнь двадцатью пятью годами тюрьмы, а десять лет спустя он выехал из России и сейчас живет в Израиле.

Я услышал о Хаим-Залмане Козлинере по прозвищу «Хазак», который, когда его пришли арестовывать, воздел руки и стал выкрикивать слова из Кабалы с такой проникновенностью, что агенты НКВД отступили.

Я познакомился со Шнеером Пинским — тихим человеком маленького роста, миниатюрная московская квартира которого служила пристанищем и академией хасидизма одновременно для десятков приезжих из разных уголков России.

Куда бы я ни приезжал — в столицы или в захолустные дыры — если удавалось найти хоть остатки чего-то еврейского: «миньян» (молитвенное собрание в частном доме), «микву» (бассейн для ритуального омовения), «меламеда», обучающего детей, шалаш-«сукку» во время осеннего праздника Суккот, — после расспросов выяснялось, что все это держится на каком-нибудь одном или двух «одержимых» хабадниках. Иногда даже оказывалось, что хабадника этого уже нет в городе с десятков лет, но заведенный им порядок все еще действует. Так повторялось в России, Белоруссии, Закавказье и Средней Азии.

Внешне наша жизнь мало в чем изменилась. Я продолжал работать в Институте физики. Мои эксперименты по магнитной гидродинамике продвигались очень успешно. Я изучал влияние магнитного поля на турбулентное движение в расплавленных металлах и электролитах. Это была тогда совершенно неизведанная область. Когда, преодолев целый ряд трудностей, я выяснил, какие способы исследования следует применять, то почувствовал себя, словно путешественник на горной дороге — за каждым поворотом, за каждым перевалом открывались новые горизонты, новые перспективы. Результаты моей работы могли быть использованы и в чистой науке, например, в астрофизике, и в промышленности, и в связи с производством энергии. И хотя я, конечно, не строил никаких иллюзий о значении этой работы, с точки зрения моей философии, занятие это, в общем, нравилось мне.

Я много публиковал, выступал на конференциях, имел учеников, аспирантов, но, конечно, настоящая жизнь начиналась лишь в те, хотя и редкие, но полные смысла вечера, когда я приходил на хасидские уроки Торы. Целые дни я проводил в «научном мире». Мне приходилось встречаться со многими профессорами и академиками, которые какими-нибудь пятью годами раньше представлялись мне стоящими на пьедесталах недостижимой высоты. Интересно было наблюдать их вблизи. Некоторые из них держались просто, другие страшно важничали.

Но теперь, когда я сравнивал их с теми, кто изучает Тору, кто, как я теперь понял, действительно заслуживают имени ученых, хотя и не имеют титулов и званий, все эти профессора казались мне жалкими пигмеями. И дело не только в том, что большинство из них было одержимо всяческими страстями и похотями и что наука и обеспечиваемое ею положение были в большой мере средством для удовлетворения этих похотей. Даже искренне преданные своей науке казались мне теперь такими примитивными, такими ограниченными по сравнению с не кончавшим университетов евреем с бородою, который, читая нараспев по старинному фолианту, проникает мыслью в самую сущность мироздания...

Еще недавно путь истории человечества казался мне размеченным верстовыми столбами научных открытий и технологических достижений. Теперь я отчетливо видел и все сильнее ощущал, что история эта разворачивается согласно вечной и неизменной программе, заложенной в Торе, и технический прогресс отступал в шкале подлинных ценностей на самые задворки.

Моя двойная жизнь требовала большого напряжения и предельной экономии времени. Я и раньше никогда не знал, что такое скука от безделья, не понимал, как это людям приходится изощряться, чтобы «убить время». С ранних лет я люто ненавидел всякие игры — домино, лото, карты, шашки. Когда случалось — во время моего пребывания в студенческом общежитии или в дороге, в поезде — что я по слабохарактерности уступал просьбам и давал себя вовлечь в какую-либо из этих игр, я глубоко страдал и мечтал о том мгновении, когда я буду, наконец, избавлен от бесполезного занятия. При этом у меня всегда бывало ощущение участия в преднамеренном преступлении — превращении в ничто самого драгоценного и удивительного дара — времени, предназначенного для созидания, творчества, самоусовершенствования.

После встреч с людьми из израильского посольства и отправки рукописи, у меня все время было ощущение, что за мной следят. Я не замечал решительно ничего подозрительного, и поэтому старался убедить себя, что все это — не более, чем плод моего разыгравшегося воображения. Однако, в конце концов, мне пришлось убедиться, что интуиция меня не обманывала.

Дело было так. После рождения ребенка я получил, наконец, от Академии квартиру в «академическом» поселке Саласпилс в двадцати трех километрах к востоку от Риги. Весь поселок состоял пока из нескольких четырехэтажных кирпичных домов. В двух километрах от него уже функционировал экспериментальный атомный реактор, принадлежавший нашему Институту.

Там же сооружались корпуса, куда должны были переехать временно находившиеся в Риге магнитогидродинамические лаборатории. Пока же я ездил на работу в Ригу. Фаня работала в Институте органического синтеза, тоже в Риге; к ребенку ежедневно приезжала моя мама, но путешествие, ходьба от станции и уход за ребенком были ей не по силам, и потому мы упорно искали подходящую няню. Счастью не было предела, когда, наконец, нашлась какая-то убогая старуха, жившая неподалеку. Она оставалась с ребенком одна на целый день. Перед уходом я тщательно запрятывал в шкафу под бельем «тфиллин» и «талит» и те несколько еврейских книг, которые у меня были.

Однажды утром, как только я пришел на работу, зазвонил телефон.

— Брановер сегодня на работе?

Я узнал голос начальницы отдела кадров.

— Это я. В чем дело? — отвечая, я сразу почувствовал какую-то тревогу.

— Нет, нет. Все в порядке. Тут вас кто-то спрашивал. Вам позвонят.

Она явно спешила от меня отделаться.

Было ясно: они хотят убедиться, что я не остался почему-либо дома. (Позже, вечером, я узнал, что у Фани на работе произошло то же самое, но она не обратила на это внимания).

Следующая электричка на Саласпилс уходила только через час. Этот час тянулся для меня мучительно долго. По дороге домой я все еще пытался убедить себя, что у меня просто разыгралась фантазия. Все же дорогу от станции до дому я преодолел почти бегом. У соседнего с нами дома стояла серая машина «Победа», почему-то сразу привлекавшая мое внимание. Взбежав по лестнице, я тихонько отворил дверь, вошел в маленькую прихожую и застыл. Дверь в комнату была притворена, и из-за нее слышались мужские голоса. Мне бы постоять, послушать, но нервы мои не выдержали, и я распахнул дверь в комнату. Гека мирно играл на полу и, увидев меня, заулыбался и пополз встречать. В стороне стояли трое мужчин и разговаривали с нашей няней.

— В чем дело? — спросил я.

— Это к вам не относится, — ответил один из них. — У нас были кое-какие вопросы к вашей работнице. Простите, что пришлось говорить с ней в вашей квартире.

Они почти сейчас же ушли, захватив с собой няньку. Назавтра она пришла и сказала, что отказывается у нас работать.

Таким образом, стало несомненно, что мы под наблюдением. Меня очень тревожило, что они, вероятно, знают, что я передал что-то в израильское посольство. Хотя я и не был официально связан с секретной работой, но вокруг меня были люди и целые лаборатории, работавшие для разных военных ведомств, занимавшиеся вопросами, связанными с ракетами, подводными лодками и т.д. При желании КГБ ничего не стоило обвинить меня в передаче Израилю секретной информации и поступить со мной, как угодно.

Признаюсь, я чувствовал себя скверно. Какое-то время я избегал как своих прежних друзей, бредивших Израилем, так и Нотке и его круга. Я боялся навлечь беду на них. Очень смущало, что меня не выгоняют с работы и что вся история так долго не имеет никакого видимого продолжения.

Только спустя полгода меня вызвал заместитель директора Института и стал утверждать, что я получаю посылки «с Запада». Я действительно ничего не получал, и потому возмущался вполне искренне. Однако он стоял на своем и внушал: «Вы должны понять, где вы работаете. Если бы это была контора «Главбредно», то — пожалуйста, могли бы получать свои посылки сколько угодно». Спорить с ним было невозможно, как и с типами из КГБ.

Наконец, еще через год, меня вызвали в «Спецотдел» Академии и очень вежливо спросили, когда мне было бы удобно встретиться с одним товарищем, который хочет со мной поговорить.

Назавтра состоялась встреча. Он показал мне удостоверение. Там было написано: Комитет Государственной Безопасности. Начальник отдела Кольман.

— Пожалуйста, расскажите о всех ваших встречах с иностранцами, — попросил он очень ласково.

Я пытался рассказать о встречах с моим двоюродным дядей, который приезжал два года назад из Израиля, еще о каких-то случайных встречах на улице. Однако мне было ясно, куда он клонит.

— Напрягитесь, пожалуйста, еще чуть-чуть, — настаивал он. Потом голос его стал жестким и неумолимым. — Поймите, что в эту минуту решается ваша судьба.

Я продолжал упорствовать. Тогда он рассказал мне — с мельчайшими подробностями — о моих встречах в Москве на улице Горького и в Ялте и о том,

что в Ялте на пляже я написал что-то на листке, вырванном из зеленого блокнотика и передал сотрудникам посольства.

— Что это было? — настаивал он.

— Адрес моего дяди и двоюродной сестры моего шурина в Израиле. Я просил передать им привет, — отвечал я.

Этот идиотский диалог повторялся снова и снова в течение нескольких часов. Стало очень поздно, и он отпустил меня, велел придти утром снова.

Назавтра мне пришлось писать письменное объяснение. Я не упомянул о рукописи, а своих израильских знакомых упорно называл туристами. За ночь я успокоился, ибо, все взвесив, пришел к выводу, что двухлетняя проверка, по-видимому, убедила их, что никаких серьезных истинных обвинений они против меня не нашли, а «раздуть» дело в данный момент, вероятно, не заинтересованы.

Позже выяснилось, что директор Института очень настойчиво добивался, чтобы меня не выгнали с работы.

Постепенно я начал возобновлять свои посещения Нотке и хасидских занятий. Особенно волнующими были хасидские вечера по большим годовым праздникам. Собиралось человек 40-50, приглашали также новых знакомых, людей, склоняющихся к иудаизму, ищущих свой путь в еврейство. Большинство таких собраний выпадало на осень и зиму, и когда я вспоминаю их сейчас, мне видится необыкновенный контраст между холодом и темнотой снаружи и теплом и светом в забитой возбужденными людьми комнате.

Но еще сильнее контраста физического был контраст психологический. Приходили и уходили, конечно, поодиночке, с предосторожностями, но коль скоро человек оказывался внутри, для него переставали существовать и КГБ, и советская власть. Он чувствовал себя свободным и независимым, участвующим в чем-то великом и вечном, подвластным одному лишь Всевышнему.

Пели душевные хасидские песни — со словами и без слов. Некоторые из них являли собой настоящие симфонии, полные чувства и глубоких философских размышлений. Все ощущали себя связанными друг с другом какими-то особыми узами, объединенными заповедью о любви к народу Израилеву и к его Священной земле, к своему ближнему.

Эта заповедь казалась овеществленной здесь, на этом празднике, происходящем во славу Всевышнего и при его покровительстве. Во время трапезы со слезами на глазах желали друг другу скорого отъезда. Потом начинали чтение. Читали «Маамарим» — статьи Ребе (нынешнего или предыдущих).

Мне было очень трудно понять то, что читали, и следить за бурными дискуссиями. Мешало незнание языка, состоявшего обычно из сочетания древнееврейского, арамейского и отчасти идиш, а также обилие ссылок на Талмуд, Зогар, на РАМБАМа и т.д. Читали также «Сихот» — речи Ребе на идиш, и их было легче понять.

Я не переставал поражаться философской и психологической глубине мысли Ребе, силе его предвидения. Некоторые из речей я пытался позже переводить на русский язык, чтобы они стали доступны непосвященным. В частности, меня очень взволновала и глубоко запала в душу одна из ханукальных речей.

Почему, спрашивалось в ней, Талмуд выделяет из всех событий, в напоминание о которых установлен праздник Ханука, именно скромный, казалось бы, эпизод с кувшином масла для храмовых светильников, а не грандиозные военные победы Маккавеев над греками? И Ребе объясняет, что масло для светильников символизирует мудрость, и так, как греки осквернили масло в Храме своим прикосновением, сделав его непригодным для использования в храмовых светильниках, так во все времена малейшее прикосновение нееврея к еврейской мудрости, к учению Торы оскверняет и фальсифицирует это учение. Никаких компромиссов, никакого, даже самого легкого, смешения в сфере духа!

Говорилось там также о том, что мир устроен Б-гом так, что в силу естественного хода событий неевреи просто не в состоянии господствовать над евреями, исключая случай, когда... евреи сами отдают себя и свое учение во власть неевреев.

В другом месте говорилось о том, что не возможность «геулы» (духовного и физического возвращения, освобождения, очищения) должна удивлять нас, а наоборот — возможность столь длительного существования противоестественного явления — «галута» (изгнания) представляется странной, удивительной и противоестественной. Все это давало пищу для раздумий и споров.

Были периоды, когда я устанавливал себе строгое расписание еврейских занятий. Особенно увлекательными были уроки по «Тании», которые давал Залман Левин — великий молчальник и живая энциклопедия иудаизма и хасидизма. Он недавно вышел из тюрьмы после десятилетнего заключения, в течение которого ни разу не ел трефного и не нарушил субботы, а теперь работал слесарем-электриком на каком-то заводе. С его сыном Моше-Хаимом мы взяли за сокращенный перевод на русский язык «Шулхан-Аруха» — свода еврейских законов. Конечно, во время этой совместной работы мы с Моше-Хаимом много говорили о «Тании».

Я мог бы многое еще рассказать о том, как меня поражало, когда в «Тании» или в другой книге Старого Ребе — «Ликутей Тора» — я находил все больше и больше ответов на вопросы, мучившие меня столько лет — о мирах духовных и телесных, о последовательности творения Б-гом материальной первоосновы этого мира из ничто, о том, как принцип универсальной предопределенности свыше может сочетаться со свободой воли человека и свободой его выбора, а главное — о высшем предназначении человека, о способах одухотворения его жизни при неприятии аскетизма, о привнесении Торы в гущу жизни.

Труднее всего мне досталось понимание и приятие того, что я бы назвал величием и глубиной простоты. Как я уже упоминал, до тех пор, пока еврейская религия, Тора отождествлялась в моем представлении с системой, выразимой в мудреных философских терминах, все обстояло благополучно. Но кризис наступил, когда стало выясняться, что Тора — это прежде всего практическое жизненное руководство, а философия, которой она пронизана, и по существу и по форме абсолютно не похожа на содержание университетских учебников, к которым я так привык.

В этих учебниках все было направлено на классификацию и обобщение, на выявление сходного во внешне различном и разнообразном. Тора же повествовала преимущественно об единственном, исключительном, неповторяющемся: об избранном народе — евреях, о выделенном времени — субботе, о несопоставимой ни с чем в мировом пространстве земле Израильской и центре вселенной — Иерусалиме, о неповторимой индивидуальности праотцев, праведников, пророков. И только в едином и единственном Б-ге все неповторимое оказывалось универсально обобщенным.

Мой рассудок никак не мог примириться с этим новым для меня видением мира, казавшимся таким вопиюще «ненаучным». Еще труднее было принять рассказы Торы о чудесах, о сверхъестественных событиях.

Потребовались годы на то, чтобы понять, что вовсе не «утонченность» современности и не «прогресс» человеческого разума стоят между мною и Торой, а всего-навсего впитанные чуть ли не с пеленок понятия и представления, которые мне никогда не казалось нужным проверить, проанализировать, обдумать.

Согласно этим представлениям, наша эпоха была особенной эпохой — веком науки. Мистика была понятием ругательным, а вера в сверхъестественное однозначно свидетельствовала о скудоумии. И даже много позже, когда я уже понял, что наука в принципе не может противоречить вере, что сущность вещей и их прошлое наглухо закрыты для науки и представляют область безраздельного господства Торы, вопрос о чудесах все еще тревожил, смущал и пугал меня. Потребовалось еще много времени для осознания простой истины, что по отношению к чуду я и человек, живший тысячу или две тысячи лет тому назад, находимся в абсолютно одинаковом положении. Чудо потому и называется чудом, что происходит чрезвычайно редко, и потому тот человек лично, вероятнее всего, никогда не наблюдал чуда, как и я. Равно со мной он видел в повседневной жизни лишь естественный ход событий, объединенных причинно-следственными связями.

Мое положение должно было бы даже быть более благоприятным по отношению к осмыслению понятия о чуде, ибо я учил естественные науки 20-го века, пронизанные идеями индетерминизма и вероятностной физики. Но беда в том, что мой разум скован рамками навязанной посредством воспитания психологии, изобретенной недалекими, чванливыми и ленивыми людьми на заре так называемой «эпохи просвещения».

Внутренний протест и неприятие сверхъестественного усиливались, если события эти относились к недавнему прошлому или к современности. Если мой «интеллигентский» рассудок, спокойно принимавший идею Единого Всемогущего Б-га, избравшего народ Израильский, начинал проявлять тревогу и ощущать дискомфорт по поводу того, что Б-г, давший миру существование и определивший законы этого существования, иногда для достижения определенной цели изменяет эти законы, то рассудок этот решительно восставал против общепринятой в хасидизме возможности чтения мыслей или предугадывания будущего современным евреем-цадиком, против идеи переселения душ или диалога с Творцом и явления сверхприродных сил в стиле Баал Шем-Това.

С огромными трудностями было для меня связано приятие идеи об «ашгаха пратит», о том, что Б-г осуществляет перманентный надзор и управление всеми живыми существами и всеми неодушевленными предметами во Вселенной. Невольно пытаюсь представить человека в роли такого управителя, наш рассудок убеждается в том, что для человека это было бы невозможно, а отсюда — в полном противоречии с элементарной логикой — заключает, что это невозможно и для Б-га.

Курьезно, что наши далекие предки обладали воображением вполне достаточным для того, чтобы уместить в нем истинные представления о Б-ге, мы же, воспитанные в мире вычислительно-управляющих машин, отправляясь от которых наше воображение, казалось бы, должно было легче представлять бесконечное могущество Б-га, оказываемся куда ограниченнее этих предков.

Справиться с этой трудностью мне помог в большой мере принцип перманентного творения, сформулированный Баал Шем-Товом. Этот принцип утверждает, что Б-г не только управляет всеми предметами в мире, но и беспрерывно творит их из небытия, обновляет их существование, и если бы это перманентное творение на мгновение прекратилось, все сущее обратилось бы в ничто. Этот принцип еще более радикален, чем принцип управления, но быть может, именно поэтому он легче усваивается рассудком, воспитанным на рационализме.

Любопытно, что пока я читал объяснения всех этих явлений, как они даются в Кабале или философии ХАБАДа, все обстояло благополучно. Теория творения вещественного из эманации Б-жества посредством последовательного сокращения и самоуничтожения духовного начала в пользу материального, или доктрина перманентного творения, которой, собственно, и определяется теоретическая возможность обратного воздействия праведника на деяния Б-га, поражали меня своей стройностью, мудростью и утонченностью. Но когда дело доходило до практического проявления этих теорий в жизни, вступал в действие психологический барьер. Воспитание, которое не только по идее, но и по понятиям, терминологии было сугубо атеистическим, прочно засело во мне. Психология оказывалась сильнее идеологии.

Прошло много лет, прежде чем я не просто смирился с понятиями, которые прежде мой рассудок отказывался принимать, но стал по-настоящему чувствовать и каким-то надсознательным образом понимать, что, например, праведный еврей надеванием филактерии может иногда надежнее защитить еврейский народ, чем армада танков и эскадрильи самолетов.

Это нельзя ни доказать, ни опровергнуть, однако в рамках еврейской философии это можно объяснить. Главное же, что для того, чтобы проникнуться этими убеждениями, необходимо прекратить хоть на время сопротивляться им, пожить в удивительном мире этих представлений. Необычайно стройное и глубокое учение хасидизма о непрерывном творении, о снабжении мира жизненной энергией объясняет убедительно и просто, почему и как поведение каждого отдельного еврея определяет судьбу мира. Но мало восхититься поинтеллигентски (стройностью этого учения, выводящего мир из единого начала, объясняющего обратную связь каждой детали мира с этим началом.

Лишь став глубоко усвоенным, впитанным мировоззрением — так, что человек все воспринимает через его посредство — Учение становится направляющим и облагораживающим фактором, определяющим поведение человека, который не только понимает, но и ощущает, что этот мир при всей его вещественности и телесности абсолютно иллюзорен, поскольку его существование обусловлено волей Творца — единственного истинно и безотносительно существующего. И воля Б-га была такова, чтобы в мире этом человеческие существа вообще и евреи в частности, наделенные свободой выбора, преодолевали в жестокой борьбе свое собственное начало зла во имя служения Творцу.

Постепенно я разобрался в том, что меня так привлекало в хасидах ХАБАДа. Самой отличительной чертой ХАБАДа по сравнению с другими течениями в еврействе является то, что ХАБАД парадоксальным образом соединяет рационалистический подход к действительности с сугубо иррациональной верой, высочайший идеализм с самым реалистическим прагматизмом. Соединение это ничуть не вредит монолитной целостности и гармоничности мировоззрения и мироощущения, которые также глубоко характерны для ХАБАДа. Если в других течениях Тора и жизнь целеустремленно, сознательно соединяются, связываются, но по существу все же остаются самостоятельными отделами, соприкасающимися, но не смешивающимися слоями, то в ХАБАДе они переплетены и взаимопронизаны до органичного единства. Каждый поступок, шаг, каждое слово хабадника вытекают из его восприятия Б-га, Торы, Ребе, и тем самым исходят из единого начала. Как говорил Бенцион Шем-Тов (бывший по всеобщему признанию классическим образцом хабадника), наша беда в том, что мы сами не сознаем, как нам хорошо, как мы должны быть счастливы, что у нас такой Б-г, такой Ребе, такие благородные и мудрые законы.

Конечно, эта цельность преломляется по-разному в разных натурах, а иногда и искажается в значительной мере индивидуальными чертами.

Поэтому упомянутую красоту и стройность проявляют только редкие личности, однако эти черты можно выявить, если выделить характерное, отличительное, устойчивое в жизни массы хабадников.

В конце 1966 года — начале 1967 появились какие-то признаки оживления в вопросе о выезде. Несколько семей получили разрешения. Правда, в большинстве своем это были люди пожилые. Их отъезд вызвал новую волну возбуждения. Я посещал каждого отъезжающего, некоторых провожал до Москвы, давал бесчисленные поручения, о которых они в большинстве случаев, конечно, забывали, даже не успев еще пересечь границу. Я пытался также выяснить шансы уехать в Румынию, поскольку отец был румынским подданным, или добиться, чтобы нас выдворили, так как советская власть в 1941 году дала отцу нансеновский паспорт, и мы, по существу, стали советскими подданными незаконным путем. Но все эти планы оказывались чистойшей утопией.

Наступил июнь 1967 года. Шестидневная война всколыхнула не только евреев, но и русских, которые обнаружили вдруг, что евреи могут здорово воевать. Латыши прониклись уважением к евреям, усмотрев в них своих союзников, также противостоящих советской власти. Об Израиле и о необходимости уехать заговорили многие из тех, кто раньше смутно знали о самом существовании Израиля или предусмотрительно держались в стороне от этой темы. Увеличилось число молодежи, посещающей синагогу по праздникам. Правда, они все еще толпились преимущественно во дворе. В канун «Симхат Тора» пляскам и песням внутри здания и на улице не было конца. Снова интенсифицировались работы и собрания в Румбуле на братских могилах Рижского гетто.

Я проводил вечера напролет у радиоприемника, слушая все израильские передачи подряд — на русском, идиш, иврите и английском, боясь упустить даже малейшую деталь, даже пустячный с первого взгляда штрих этого чуда из чудес, вошедшего в историю под названием «Шестидневная война».

Одно обстоятельство несколько смущало меня. Мне казалось естественным, что после такого явного чуда все евреи немедленно обратятся к Б-гу или хотя бы инстинктивно выразят хоть каким-то образом свою признательность Ему. Больше всего я ждал этого от тех евреев, которые живут в Израиле. Однако, за небольшими исключениями, ничего подобного не происходило. Более того, израильские государственные мужи в своих речах упрямо избегали даже таких естественных выражений, как слава Б-гу, с Б-жьей помощью и т.д., которые неизменно присутствуют в речах большинства руководителей стран свободного

мира. Создавалось впечатление, что у наших лидеров какая-то идиосинкразия, какой-то патологический протест против Б-га.

Забегая вперед, могу сказать, что подобные мысли угнетали меня и впоследствии — каждый раз, когда Всевышний являл своему народу чудеса. Так было, например, в начале 70-х годов, когда террористы, провозглашавшие «священную войну» против Израиля, евреев, сионистов, вдруг начали истреблять друг друга (я имею в виду события в Иордании).

Несмотря на то, что эти события уж никак нельзя было объяснить рациональным путем, отнести за счет изощренности ума и мощи рук евреев, чудо снова не было признано и благодарности за него в общем не последовало. Я невольно сопоставлял и противопоставлял происходящее с двумя отрывками из Пятикнижия. Во-первых, с тем местом из главы «Лех леха», где описывается, как праотец Авраам возвращается после блистательной победы над царем Кардалеомером и его союзниками, и тут вдруг Б-г почему-то говорит ему: «Но бойся, Авраам, Я защита твоя, награда твоя очень велика». И РАШИ объясняет, что Авраама объял страх, так как он очень опасался, что дарованной ему победой исчерпалась мера заслуженного им. Вот этого-то ощущения страха оказаться должником перед Б-гом так катастрофически не хватает нынешнему поколению. Второй приходивший мне на ум отрывок из Пятикнижия был из главы «Хукат», где рассказывается о том, как наказан был даже сам Моше за то, что не проявив абсолютной веры в слова Б-га, извлек воду из скалы не словом, а ударами посоха. Он уменьшил этим меру прославления Всевышнего, как бы приписав часть заслуги себе, и за это ему не дано было войти в Священную землю.

В начале 1968 года десятки семей, ранее безуспешно добивавшиеся разрешений на выезд, внезапно получили их. Новым было то, что среди этих людей были и совсем молодые, и даже люди с высшим образованием, и военнообязанные. Уехало несколько хасидских семей. Шансы явно повышались. Нотке совсем воспрял духом. Ездил по всей России, самоотверженно собирая старинные еврейские рукописи, которые теперь стало возможным спасти, переправив за пределы Советского Союза. Наши с ним воскресные поездки на моем автомобиле в Литву за курами стали более редкими, но не прекратились. Мы выезжали утром до рассвета, молились и завтракали после восхода солнца где-нибудь в лесу.

На примере таких поездок видно, как относительно понятие о житейских трудностях.

Мои родственники, из числа посвященных, говорили: «Он одержимый. Потратить целый выходной день, не спать полночи, трястись триста километров на вечно ломающейся машине и тащить живых вонючих кур, а после того, как они уже зарезаны, выщипывать перья — и все это ради того, чтобы добыть кусочек кашерного мяса для семьи. Это чрезмерно! И только безумный фанатик может не понимать, что, конечно, еврейский закон допускает какое-то послабление в таких условиях!»

Но, честное слово, мне это было не трудно, а, напротив, доставляло большое удовольствие. Я просто выполнял то, что полагалось, к тому же в поездке наслаждаясь изумительными деревенскими пейзажами и звучащими на их фоне особенно проникновенно хасидскими историями о рабби Исраэле Баал Шем-Тове, которые рассказывал Нотке.

Удивительный мир открывался в этих историях. Этот мир, который, рассуждая трезво, был таким далеким, таким незнакомым мне, будил какие-то потайные реминисценции и через их посредство оказывался необыкновенно родным и знакомым. Чистота духа и благородство людей, живших и действовавших в этом мире, их самоотверженность в помощи ближнему и в служении Б-гу, постоянное собирание «искр Б-жественности», заброшенных в самые низы жизни, насыщали этот мир неповторимыми ароматами и настроениями. Б-г открыто проявлял свое присутствие в этом мире.

Не скрою, первоначально эти истории, полные чудес и сверхъестественности, смущали мою укутанную в скептицизм душу. Я склонен был понимать их аллегорически. Прошло немало времени, пока я дошел до приятия их простого буквального смысла, до понимания, что в действительности привычный нам мир суетливой деятельности является иллюзорным в противовес обладающему наибольшей мерой истинного существования миру хасидских историй о Баал Шем-Тове.

Весной 1969 года, перед Песах, уехал и Нотке с семьей. Поскольку я ничего не знал о судьбе моей рукописи в Израиле, он предложил дать ему экземпляр, и, рискуя не на шутку, переправил его, а по приезду в Израиль содействовал изданию книжки. Он же предложил название «Из глубин», заимствованное из псалмов Давида.

Хотя мне было одиноко без Нотке, я чувствовал себя увереннее, зная, что мой верный друг находится «там».

Тем временем я защитил докторскую диссертацию. Спустя некоторое время я получил также звание профессора. Мне прислали несколько очень интересных приглашений из заграницы. В частности, предлагалось лекционное турне по нескольким университетам Америки. Однако делу этому никто не соглашался дать ход, а мне было предложено написать, что моя жена больна, и я не могу ее оставить. Кстати, я потом долгое время получал выражения соболезнования от своих заграничных коллег и пожелания здоровья жене.

У меня все еще не было никакой конкретной зацепки для выезда. Пойти на новую фальсификацию после «польской эпопеи» с Руфиной и Юзеком и всех моих неприятностей с КГБ я не решался, а настоящих близких родственников в Израиле у меня все еще не было. Поэтому я продолжал чего-то ждать, мучительно ощущая, что упускаю, быть может, последнюю возможность.

Я продолжал работать в Академии, но сосредоточиться на работе было все труднее, мои исследования казались все более бессмысленными, а сотрудники и аспиранты — невыносимо надоедливymi. Эти люди были искренне и твердо убеждены, что они являются истинными столпами и двигателями прогресса человечества. Атмосфера научных конференций и съездов особенно способствовала их самоутверждению. Это был настоящий праздник величия ученой элиты. Тут и театральная величественность торжественных открытий, где каждый начинал чувствовать себя соучастником чего-то великого, и изощренное наслаждение демонстрацией собственной эрудиции и остроты мысли во время дискуссий, и напряженно-непринужденное остроумие банкетных тостов, и редкая возможность прямо-таки локтем тронуть какого-либо корифея... И надо всем этим сладостное осознание своего собственного величия и исторической значительности события в целом. Я пишу все это вовсе не для осуждения других, а просто рассказываю о том, как сам воспринимал когда-то свою миссию ученого и что чувствовал, в частности, на научных съездах.

Летом 1968 года советское вторжение в Чехословакию положило конец беспрецедентному эксперименту Дубчека создать «коммунизм с человеческим лицом».

Хотя нас в это время мало беспокоила правда и справедливость в глобальном масштабе, и мы были полностью сосредоточены на еврейских проблемах, это вторжение вызвало невыразимое чувство отвращения, обиды за то, что животной силе удастся в этом мире так беспрепятственно уничтожить все благородное.

Время шло, а просвета, малейшей зацепки для того, чтобы действовать во имя отъезда, все не было и не было.

Между тем приближение дня, когда отъезд станет в принципе возможным, чувствовалось, как мне казалось, все сильнее. Внешне в нашей жизни, как я уже упоминал, все еще почти ничего не изменилось, но на самом деле все было настроено на волну отъезда. Я продолжал, правда, писать статьи и книги по магнитной гидродинамике, но сосредоточить внимание на этих занятиях становилось все труднее и труднее. Я стал менее опаслив в своих еврейских занятиях, снова начал посещать официальную синагогу вместо тайного миньяна. Это было очень радостно.

Особо волнующим был месяц Элул — последний месяц перед новолетием — Рош-а-Шана, месяц, являющийся у евреев временем самоотчета и самоусовершенствования. В течение последних дней этого месяца читаются специальные молитвы — «Слихот». Их читают рано утром, задолго до восхода солнца.

Это было удивительное ощущение — вставать среди ночи, идти пешком в синагогу по темным безлюдным улицам. Холодная ночь пахла осенней сыростью, прелыми опавшими листьями. Собирались группами «грибники», с корзинами и ведрами погружались в грузовики, увозившие их за город, в леса. А мы — несколько евреев, знающих свое назначение, делали то, что делали в это время года наши деды и прапрадеды — шли говорить с Б-гом, готовиться к дням Суда и обновления, к вступлению в Новый год, который обязательно должен быть благоприятным для наших братьев во всех уголках планеты...

Мы шли на суд к Всеведущему. Это было и тревожно, и радостно; настоящее перекликалось тысячами ассоциаций с тем, что я читал и слышал о «Слихот», предновогодней атмосфере в еврейском местечке где-нибудь в черте оседлости давно, давно — лет сто назад. Виделось и ощущалось, как старый шамес, кутаясь в дырявую капоту, ежась от предрассветного холода, шагает от дома к дому, стучит в закрытые ставни, будит евреев, напоминает, что настал час благорасположения Всевышнего к своим разбросанным по враждебному, холодному миру детям. И евреи выходили из покосившихся убогих изб, спешили в бревенчатую синагогу, скудно освещенную мечущимся пламенем свечей и керосиновых ламп. Шли старые бородатые и молодые с вьющимися пейсами...

И тоска и томление по этому местечку — нищему телесно, но насыщенному электричеством духовного взлета, переполняла меня.

Эти реминисценции были неисчерпаемым источником нравоучения и вдохновения во все дни года, но особенно в канун дней Суда и раскаяния.

Всегда в это время года бывало ощущение, что мы движемся навстречу чему-то великому, радостному, немного страшному, но больше — торжественному. Это было чем-то похоже на приближение экзамена, когда я был еще студентом, но сейчас все было в неисчислимое количество раз важнее и возвышеннее. И вместе с трепетом, с невыразимой словами гаммой чувств тревожно-радостного ожидания мною исподволь овладевала гордость и даже какое-то злорадство по поводу того, что всемогущая советская власть со всей ее армией, явной и тайной милицией, вездесущей коммунистической партией, танками, самолетами и атомными бомбами, гигантской государственной машиной бессильна перед несколькими безоружными евреями, не в состоянии отделить их от вечного Б-га.

На сами осенние праздники я теперь обычно уезжал в Закарпатье. Там все еще сохранялось подобие еврейских общин. Общины не были так сильны, как в Грузии, но зато евреи оказались в большинстве своем гораздо образованнее в Торе.

Все еще функционировали десятки миньянов, миквы. Во время этих поездок я познакомился и подружился с еще одним удивительным человеком — Иосифом-Мордехаем Каганом, подпольным раввином Мукачева и всего Закарпатья. Официально он принимал пустые бутылки в пункте стеклотары, устроенном во дворе его дома, на самом же деле руководил еврейской жизнью Мукачева, Хуста, Ужгорода.

Тяжек был жизненный путь этого человека. Его первая жена и шестеро детей были убиты немцами в Аушвице. Он сам чудом уцелел и лишь благодаря своей глубокой вере сумел заставить себя вернуться к жизни, к работе и даже создать новую семью. Затем с 1950 по 1953 годы он скрывался от сталинских ищеек, намеревавшихся его арестовать. Бывали дни и ночи, которые ему приходилось проводить в придорожной канаве, зарывшись в мокрую глину, но за эти три года он ни разу не поступился ни одной заповедью. Его вторая жена тем временем героически растила четырех маленьких детей. Когда я с ним познакомился, он был совершенно сед, хотя ему было далеко до шестидесяти. Кстати, это был первый еврей с пейсами, которого я видел в жизни. Сейчас он живет в Бруклине.

В доме раввина Иосифа-Мордехая я многому научился, особенно в отношении еврейских законов и обычаев. Между прочим, я постиг там искусство выпечки румяных благоухающих субботних хал, и с тех пор неизменно сам пек халы у нас дома на каждую субботу.

Время, которое я проводил в Закарпатье, было удивительным. Это была отрешенная, едва соприкасающаяся с советской действительностью жизнь. Все посвящалось Б-гу, Торе и Израилю, каждая минута заполнена еврейскими занятиями. Между Рош-а-Шана и Йом Кипур — в дни, называемые «десятью днями каяния», — я посвящал по хасидской традиции многие часы чтению псалмов Давида — «Теилим». Я прочитывал всю книгу до трех раз в день, а однажды мне удалось повторить чтение полных пять раз в течение дня...

Тем временем наш сын Гека подрастал, и это рождало новые проблемы. Нужно было оградить его от пагубных влияний окружающей среды, открыть ему возможно раньше гармонию и мудрость мира Торы и вместе с тем позаботиться о том, чтобы он нас не выдал. В полтора-два года он уже довольно твердо знал отличие субботы от будней, кошерного от трефного, а к трем годам не только постиг еврейский алфавит, но знал уже много древнееврейских слов и некоторые простые слова умел прочесть. Но одновременно ему пришлось разобраться не только в том, что существуют евреи и неевреи, но и в том, что только с «хорошими евреями» можно говорить о молитвах, которые он научился читать по молитвеннику, о субботе, о Б-ге. Впрочем, он хорошо ориентировался во всех правилах конспирации и, за редкими исключениями, сам умел определить, с кем и о чем можно говорить.

Он, конечно, носил дома ермолку и очень ловко прятал ее в карман, как только кто-либо к нам приходил. А приходили часто, потому что мы все еще жили в академическом городке в Саласпилсе, и большинство соседей были моими коллегами. Соседки то и дело приходили одалживать всякие кухонные принадлежности, и нам даже пришлось завести специальный набор трефной посуды для дачи взаймы. Позже мы поменяли квартиру, переехали в центр Риги, в дом, населенный незнакомыми людьми, и эта проблема стала менее острой. Гека обожал слушать об истории евреев, о праотце Аврааме, о Моисее и царе Давиде, об исходе из Египта, об Иерусалимском храме. Он задавал бесконечные вопросы о бестелесности Б-га, о душе человека, о Священной израильской земле, о которой мечтал больше, чем о самых обольстительных игрушках. Когда он пошел в школу, возникла новая проблема — как освободить его от занятий в субботу.

Я все еще не был готов пожертвовать своей работой в Академии, а потому не решался поступить подобно моим товарищам хасидам — не отдавать Геку в школу вообще или пойти к директору и, объяснив, что мы религиозны, потребовать освободить моего сына от занятий в субботу. Мы выбрали более трусливый путь — добыли врачебную справку о том, что по состоянию здоровья ему необходимы два дня отдыха в неделю.

А уезжало все большее число людей. Теперь это часто бывали уже не религиозные и не те, кто принадлежал до прихода советской власти к сионистскому движению, и даже не те, кто приблизился в последнее время к одной из этих двух групп. Подавали заявление о выезде и не так уж редко получали разрешение евреи, которые еще недавно казались абсолютно индифферентными ко всему еврейскому. Видимо, они просто оказались увлеченными потоком. Происходила своеобразная «цепная реакция» — один уехавший «возбуждал» несколько других — родственников, соседей, коллег.

Важнейший качественный сдвиг в положении дел с отъездом произошел после выхода на арену борьбы доктора Менделя Гордина. Этот застенчивый и тихий молодой рижский врач был первым советским евреем со степенью кандидата наук, который начал добиваться разрешения на выезд в Израиль. Мендель первый изобрел и испробовал большинство тех способов борьбы, которые впоследствии стали так хорошо известны. Он несколько раз отсылал свой советский паспорт в Москву, отказываясь от советского подданства, оставался безработным, бездомным, голодал. Мендель происходил из религиозной семьи, жившей в Двинске, но сам был прежде далек от религии. Теперь же, вступив в неравное единоборство с властями, он одновременно вернулся к заветам отцов. Надо сказать, что в это время — речь идет о самом начале 70-х годов — поиски молодежи, особенно академической, путей возвращения к еврейству, к Торе, стали довольно распространенным явлением и в Риге, и в Ленинграде, и в Москве.

Меня очень интересовали эти люди, шедшие тем же путем, который ранее посчастливилось выбрать мне. Но этот интерес был не только проявлением чувства своеобразного родства. Он был вызван также определенными практическими соображениями. Мне казалось важным понять и обобщить мотивы и причины, приводящие этих людей к еврейству, к Торе, чтобы попытаться как-то интенсифицировать и стимулировать этот спонтанный процесс.

Выяснилось, что у большинства из этих людей главной движущей силой на пути приобщения к еврейству были отнюдь не философско-познавательные мотивы. Для очень многих более важным являлся нравственно-этический аспект. Было, однако, много и таких, которые вообще затруднялись проанализировать причины, обратившие их к Торе. Иногда главную роль играли негативные факторы: обиды, нанесенные враждебной средой, трудности, испытанные при поступлении в институт или при служебном продвижении. Но часто пробуждению еврейской искры в душе содействовали факторы позитивные, случайно почерпнутые крупницы сведений о Торе, о еврейских законах и обычаях. Для одного, например, толчком явилось чтение глав из последней книги Пятикнижия, где еврейский народ предостерегается против отступничества от Б-га и где перечисляются кары и бедствия, которые в случае такого отступничества постигнут еврейский народ. Он прочел, сопоставил прочитанное с происходящим вокруг, — и ощущение полного воплощения пророчества в окружающем его мире заставило его содрогнуться. Это и явилось поворотным мгновением в его жизни. Другой прочел «Иудейскую войну» Фейхтвангера, и с этого началось его возвращение.

Было много таких, которые просто случайно (или так им казалось, что это произошло случайно) встретились с хасидом-хабадником, вняли его увещанию провести с его семьей субботу или даже только один раз надеть филактерии, и с этого началось открытие нового для них мира.

Все эти люди были молоды. Большинство — с университетским образованием. Во многих отношениях очень разные, они все были одинаково беззаветно преданны поздно открывшемуся им Учению и готовы ради него на жертвы и лишения. Их новый образ жизни ставил перед ними многочисленные проблемы, связанные с их работой или учебой, но, быть может, еще тяжелее были конфликты с близкими — родителями, женами. Не знаю, подходит ли к этим людям определение «баал тшува» — «вернувшийся» (к Торе, к заповедям), ибо они ведь просто отродясь ни о чем еврейском не слышали. Как бы там ни было, история каждого из них — волнующая повесть. Упомяну здесь хотя бы несколько из многих десятков знакомых мне людей этого типа, например Давида Каждана — сотрудника Московского университета, одного из талантливейших математиков нынешнего поколения, который за несколько лет почти самостоятельно поднялся до высот Гемары. Или Шмуэля Рафельсона, мальчика из Риги, который с двенадцати лет загорелся идеями иудаизма и месяцами жил на хлебе и воде, не имея возможности доставать кошерную пищу.

Или, наконец, Цви Эпштейн — учитель из Коломны, тративший по восемь часов в день на дорогу, т. к. только на таком расстоянии нашлась какая-то захолустная школа, где ему разрешили преподавать, не снимая шапку. Упомянутые люди уже покинули Россию, но я достоверно знаю, что беспрерывно появляются все новые «баалей тшува» и в Риге, и в Москве, и в Ленинграде, и в Ташкенте.

Что касается Менделя Гордина, то, пройдя через много испытаний, он победил — ему дали разрешение на выезд. Его успех имел огромное психологическое значение и оказал сильное влияние на других — стало ясно, что и для молодых, имеющих высшие научные степени евреев положение больше не безнадежно!

Хасиды уезжали один за другим. По мере того, как число хасидов в Риге сокращалось, мне приходилось перенимать все большее число обязанностей, связанных с поддержанием различных аспектов еврейской жизни, еврейского воспитания, написанию и распространению литературы на еврейско-израильские темы. Это требовало все большей затраты времени, а также очень сковывало меня (даже сильнее работы в Академии) в отношении сотрудничества с людьми, борющимися за выезд, ибо мы с друзьями считали, что — по большому счету — поддерживать еврейское воспитание важнее даже, чем добиваться выезда, тем более, что каждый, кто получит хоть какие-то крохи еврейского воспитания, окажется, без сомнения, очень скоро в рядах борцов за выезд.

В это время — в июне 1970 года — в Ленинграде состоялась так называемая Всесоюзная координационная конференция борцов за еврейскую эмиграцию. Очень огорчало, что в этом начинании было так много стремления играть в политику, а также то, что еще до конференции участники успели вконец переругаться между собою и разбились на фракции, количество которых, кажется, превышало число участников.

Картина эта разительно отличалась от спокойной и деловой обстановки в нашем хасидском движении, где никто не искал почета и не спешил высказывать свое мнение. Напротив, все предпочитали сосредоточиться на повседневной черной работе, дававшей недвусмысленные, видимые результаты и огромное моральное удовлетворение. Вскоре началось известное «самолетное» дело и несколько дочерних судебных процессов, всколыхнувших весь еврейский мир. Тревога за арестованных — с одной стороны, радость, что движение за отъезд в Израиль становится все более массовым — с другой.

Однако даже в этот период бурного распространения израильских настроений число евреев, по-настоящему задетых волной пробуждения, все еще оставалось весьма скромным меньшинством в трехмиллионном советском еврействе. Гораздо больше было таких, которые пассивно симпатизировали пускавшимся в путь, жаждали знать обо всем, что происходит на фронте еврейских событий, ибо эти события будили в них сладостные ассоциации с воспоминаниями раннего детства, с родительским или дедовским домом. Однако они начисто отвергали даже мысль о возможности какого-либо участия в происходящем, ибо в конечном счете считали русскую культуру, свою профессиональную карьеру, свою налаженную жизнь куда важнее и серьезнее всех этих сантиментов и эмоций.

Были и другие — откровенно враждебные пробудившемуся еврейскому движению, которые видели в нем угрозу своему благополучию. Наконец, подавляющее большинство по-прежнему оставалось не только безучастным, но, как это ни звучит неправдоподобно, даже почти и не ведающим всего происходящего, ибо все их интересы были прочно прикованы к немудреным и осязаемым предметам, ради которых они жили, — лучшей, отдельной квартире, автомобилю, даче, дефицитной импортной кофточке, поступлению сына в институт.

Можно было бы упомянуть еще о евреях, составивших основное ядро так называемого демократического движения, борющегося за изменение положения в России и потому не имеющего ничего общего с движением за выезд в Израиль, кроме разве общего противника.

Это движение — весьма малочисленное и не имеющее ни опоры в широких массах, ни, соответственно, шансов на успех, и возникло, по-видимому, лишь благодаря успехам еврейского движения за выезд — единственного за все время существования советской власти движения, направленного против политики правительства и добившегося своих целей. (Кстати, по моему мнению, вряд ли кому-либо удастся объяснить рационалистически причины успеха еврейского движения.)

Демократическое движение представляло собой осложняющий фактор для еврейского движения. Однако самым опасным и непосредственным врагом еврейского пробуждения было и остается по сей день иудео-христианство, центром которого является церковь в Москве, возглавляемая весьма предприимчивым евреем-выкрестом.

Пользуясь тем, что евреи, в душах которых просыпается жажда духовности, катастрофически несведущи в иудаизме, и путь к познанию в этом направлении прегражден многими барьерами — языковым, культурным, психологическим, — вышеупомянутый иудео-христианский лидер и его подручные приманивают мятущихся доступностью своего отравленного товара. С некоторых пор этой компанией овладели гигантские амбиции: они решили создать свою церковь и в Израиле и с этой целью стали направлять туда людей, наставляя их вести себя внешне во всем, как евреи, даже изображать из себя верующих евреев. Беда в том, что секуляризованным евреям как в России, так и в Израиле очень трудно ощутить всю опасность и далеко идущие последствия этой затеи.

Таким образом, при всей огромности впечатления, произведенного еврейским пробуждением в России на окружающий мир, надежда на то, что это пробуждение приведет в скором времени к спасению российского еврейства от дамоклова меча ассимиляции и духовной гибели, оставалась при трезвом рассмотрении весьма слабой. Однако тысячи вступили на путь спасения, и этот факт трудно было переоценить.

Летом 1971 года развивающиеся события коснулись, наконец, нашей семьи. Уехали одна за другой семьи моей сестры и брата. Немного позже я получил от них вызов — настоящий, неподдельный.

Наконец-то, после стольких лет ожидания у меня снова была возможность действовать во имя выезда. Это вовсе не означало, что перед нами расстилалась столбовая дорога, ведущая в Священную землю. Это не означало даже, что у меня была сколько-нибудь серьезная надежда, что нас выпустят в близком будущем. Но мне было достаточно того, что я больше не должен сидеть сложа руки, содрогаясь от мысли, что приоткрывшаяся чуть-чуть дверь на волю может в любую секунду захлопнуться навсегда.

За долгие годы жизни при советской власти я много раз собирал бумаги, справки, фотографии для подачи во всякие учреждения, но никогда еще я не делал это с таким подъемом, как сейчас. Неважно, что и мне, и Фане пришлось распрощаться с работой, неважно, что я совершенно не представлял себе, на что мы будем жить во время ожидания разрешения на выезд, которое, возможно, протянется годы.

День, в который я понес документы в Отдел виз и регистрации (ОВИР) Министерства внутренних дел, был одним из самых счастливых дней моей жизни. Помимо того, что это было началом пути в Израиль, я сразу почувствовал

себя освободившимся от множества оков. Нечего было больше опасаться за свою работу в Академии, искать «миньян» на частной квартире, ездить на время годовых праздников в Грузию или Закарпатье, не нужно было больше прятать берет в карман, можно было даже отпустить бороду и в соответствии с еврейским законом «не портить краев ее».

Наверное, не будет преувеличением сказать, что до подачи документов на выезд я достиг предельно возможного в советских условиях преуспевания и благополучия. У меня была максимальная зарплата, квартира в центре города, машина и дача на побережье Рижского залива. Более того — я добился признания в качестве авторитета в своей научной области — магнитной гидродинамике: опубликовал множество статей, издал несколько монографий и учебников, у меня были ученики. Если бы я не «подпортил» свою биографию историей с Польшей и с израильскими дипломатами, то мог бы, вероятно, даже ездить в заграничные командировки и продвигаться вверх по административной линии.

По мнению любого «нормального» советского гражданина, у меня было все для того, чтобы жить спокойной, размеренной, полной довольства и удовлетворения жизнью. Меня же эти успехи только сильнее угнетали, напоминая о том, как далек я от исполнения своей мечты, подчеркивая, что это — движение в сторону, прямо противоположную желаемой, — и я с остервенением делал все, чтобы лишиться себя ощущения этого сладенького благополучия. Я не позволял себе выспаться, просиживая часами над древнееврейскими фолиантами, так упорно не поддававшимся мне, писал новые и новые сочинения на еврейско-философские темы — писал для того, чтобы сжечь их либо от неудовлетворенности написанным, либо из-за отсутствия надежного места, где бы можно было их хранить. Я включался в любые хасидские начинания, с наслаждением заполняя жизнь тревогами и опасностями. Когда выдавалась редкая свободная минута, я погружался в мечты о том, как буду когда-нибудь помогать строить Израиль. Чаще всего я видел себя в пустыне Негев ищущим новые способы опреснения воды. Иногда мечты связывали мое будущее с разработкой самолетов (ведь я же как-никак гидродинамик!) Мне представлялись недели без сна в лаборатории, беспрерывные эксперименты...

Неудивительно, что теперь, когда настало, наконец, долгожданное время действовать во имя выезда, я с ликованием отказывался от всех житейских достижений: обеспеченного положения, почета, научного творчества.

Месяца через полтора после подачи документов мы получили отказ, к которому были совершенно готовы. Как и полагалось, я начал писать бесконечные письма, жалобы, ходить на приемы к министрам, заместителям министров, в Центральный комитет партии. Министр внутренних дел Латвии сказал мне, что так как я много лет работал в тесном контакте и даже территориально находился в одном здании с людьми, занимавшимися секретными исследованиями, то не мог не знать, что они делали, хотя сам и не имел никогда так называемого «допуска» к секретной работе. Следовательно, с выездом мне придется подождать, пока я все забуду. «Быть может, — сказал он, — разрешение дадут лет через пять, но не исключено, что лишь через десять-пятнадцать». Не могу сказать, что меня это очень ободрило, но настроение все еще оставалось намного лучше, чем было до подачи заявления.

Считанные хасиды, еще остававшиеся в Риге, и прежде всего Шлойме Фейгин, заботливо поддерживали меня, а наши совместные занятия по Торе стали для меня еще более необходимыми и радостными, чем прежде. Я наслаждался также обретенной мною свободой поведения в синагоге и старался не пропускать общественной молитвы. Это было удивительно хорошо — ходить в синагогу, как к себе домой, открыто, официально. Я уже писал о том, что с тех пор, как познакомился с хасидами, я в большой мере перестал ощущать господство советской власти надо мною, ибо все важное в жизни отныне происходило в высшем духовном мире, и КГБ было бессильно помешать этому. Однако необходимость вести двойную жизнь, ловчить, хранить в тайне все, что связано с соблюдением заповедей, сковывало и ограничивало. Теперь же я ходил в синагогу гордо и не скрываясь. Как радостно, встав чуть свет, ехать или идти через весь город с «талитом» и «тфиллин» в руках, заговаривать с встречными евреями о Торе, о еврейской миссии! По субботам после утренней молитвы мы оставались в синагоге, совершали «киддуш» и долго сидели, слушая объяснения к недельной главе из Пятикнижия, распевая хасидские песни и бесконечно наслаждаясь душевной теплотой и атмосферой братства.

Я продолжал писать жалобы, требовать. Скоро мне стали звонить из-за границы: из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Женевы и еще из многих других городов. Звонили деятели разных движений в поддержку советского еврейства, студенты, женщины-активистки, сенаторы, главные раввины Англии, Франции и Израиля. Звонок главного раввина Израиля Унтермана, конечно, особенно взволновал меня. Каждую неделю звонил мой брат, а несколько раз звонил Нотке. Звонки продолжались иногда до утра, и бывали ночи, когда мне приходилось вставать по десять раз.

Обиднее всего было, что иногда целью звонка было сообщить мне что-нибудь вроде: «Вы представляете, мы провели вчера на Пятой авеню (или на Трафальгарской площади, или на Елисейских полях) демонстрацию (или митинг) в вашу защиту. Участвовали двести (или тысяча) человек».

Зная абсолютную индифферентность Советов к общественному мнению, я никак не мог взять в толк, чем это может мне помочь, и пытался объяснить собеседнику на другом конце провода, что предпочел бы, чтобы обо мне похлопотал какой-нибудь политический деятель, ученый или писатель, который находится в хороших отношениях с советскими правителями. Собеседник же обычно так упивался собственными успехами, так был увлечен и возбужден, что просто не мог терпеливо слушать, и мне оставалось только горячо благодарить его.

Расшаркиваться в благодарностях и любезностях, да еще в три часа ночи, после того как меня уже несколько раз подымали, да еще по-английски, да еще с учетом того, что КГБ все записывает, было — признаюсь честно — не очень приятно.

Спустя некоторое время КГБ отключило мой телефон от сети. В это время я установил контакты с несколькими группами рижских активистов, как обычно, жестоко враждовавшими между собой, и стал участвовать в их начинаниях — коллективных письмах, демонстрациях, голодовках, массовых походах в государственные учреждения. Позже я начал сам выдвигать планы различных действий и в ряде случаев добился их коллективного исполнения. Однако вся эта так называемая борьба, честно говоря, вызывала во мне глубокое отвращение, потому что ее целью было не нанесение хоть какого-нибудь ущерба терзавшей нас власти, а просто привлечение внимания к нашим требованиям. Причем вести эту «борьбу» приходилось так осторожно, так деликатно, чтобы, по возможности, не переступить нигде той чуткой границы, откуда начиналась дорога в тюрьму.

Я судорожно искал какие-либо новые формы действия — такие, которые были бы действительно вредны для наших врагов и, что еще важнее, действительно полезны нам. Наконец, я понял: Тора, коллективное изучение Торы! Что могло быть опаснее для властей, чем изучение Торы, обеспечивающее продолжение и преемственность движения за выезд? Недаром Тора была одной из главных мишеней советской власти, начиная с 1917 года. С другой стороны, что могло быть полезнее для нас, готовящихся к переселению в Священную землю, чем приобщение к еврейскому учению?

Я пытался объяснить активистам движения за выезд, что для нас, безработных, имеющих уйму свободного времени, это — удивительный шанс еще до физического переселения в Священную землю обрести отнятое у нас официальным воспитанием и образованием еврейство. Увы, очень трудно было растолковать этим людям, что нам необходимо стать евреями в полном смысле этого слова еще здесь, в изгнании.

Я обратился во все высокостоящие правительственные учреждения с требованием разрешить нам официально создать при Рижской синагоге кружок по изучению еврейской религии. Я не сомневался, что никакого разрешения получено не будет, что власти просто не отреагируют, но было важно, чтобы мое обращение было зарегистрировано. Это давало козырь против возможного обвинения в том, что мы организуем кружки по изучению чего-нибудь антисоветского.

Тщетно прождав ответа властей больше месяца, мы стали собираться небольшими группами на частных квартирах. Начинать пришлось с алфавита и популярных, весьма общих объяснений того, что собой представляет еврейский народ и что такое Тора; с объяснения того, что если для интеллигентного человека считается неприличным не знать, кто такие Шекспир, Репин или Бетховен, то для еврея, считающего себя к тому же интеллигентным человеком, еще более неприлично не знать, кто такие Эзра и Нехемия, Гилель и Шамай, Йегуда а-Леви.

Замечу, что у части моих бывших коллег и знакомых-евреев мой переход к открытому исповеданию и соблюдению еврейских религиозных законов вызвал много кривотолков. Следуя какой-то бредовой логике, меня обвиняли в притворстве, а иногда мешали организуемым мною занятиям, увы, не брезгуя даже пользоваться для этого помощью властей. Это грустная история, и мне не хочется подробнее рассказывать об этом. Видя, сколько времени и сил отказники растрачивают впустую, я старался придумывать все новые и новые способы направить часть их энергии в русло еврейского самоусовершенствования, укрепления еврейского самосознания. Казалось диким, что люди, порвавшие так решительно со своим прошлым, сосредоточились только на одной — пусть даже очень важной — заповеди из числа шестисот тринадцати указанных в Торе, на заповеди о переселении в Священную землю, и пренебрегают столькими другими еврейскими обязанностями.

Было больно видеть, как, томясь и страдая, они, за редкими исключениями, не обращают своих мыслей к Б-гу, ища у Него помощи и поддержки, как это обязательно сделал бы дед или прадед любого из них.

Невольно сравнивая этих людей с десятками моих друзей-хасидов, которые уже успели к этому времени уехать и акклиматизироваться в Израиле, я осознавал все яснее, что даже просто для личного, человеческого блага людей, не имеющих еврейских корней, им необходимо возможно больше узнать об еврействе и вжиться в него еще в России, иначе они почувствуют в Израиле катастрофическую непричастность ко всему, и приезд и ломка всей жизни покажутся им бессмыслицей, как только непосредственная цель окажется достигнутой, и советская власть больше не будет подогревать их энтузиазм противодействием.

Как-то мне удалось организовать трехдневный пост с чтением псалмов Давида. Было очень волнующе и трогательно, когда несколько десятков молодых людей, набившись в маленькую комнату, читали псалмы — кто на иврите, кто по-русски, а кто и просто разучивал еврейские буквы. Я использовал каждую возможность, чтобы привлечь внимание к духовному аспекту происходящего с нами. Так, на одном из митингов, происходивших в Румбульском лесу и совпавшим с днем Лаг Баомер, рассказывая о смысле этого праздника, так мало известного советским евреям, я старался объяснить, что при всем величии Бар Кохбы, олицетворявшего физическую, военную силу, в исторической перспективе рабби Акива, олицетворявший силу духовную, предстает еще гораздо более великим.

Все эти усилия были, конечно, как говорится, каплей в море. Но все же я видел, что есть люди — пусть немногочисленные, — на которых мои убеждения и объяснения начинали оказывать действие, и этого было достаточно, чтобы не отчаиваться и продолжать. КГБ и милиция начали тем временем тревожить меня все чаще. Арестовывали на короткие периоды, запугивали, предъявляли всякие нелепые обвинения. Нет смысла подробнее останавливаться на этом, ибо через подобное, а часто и намного худшее, прошли сотни советских евреев, и все происходившее с ними многократно и подробно описывалось в газетах и широко известно.

Напряжение росло, и на душе было довольно тревожно. Я сообщил об ухудшении своего положения брату в Израиль, и он предпринял поездку в Европу и Америку с целью организовать поддержку со стороны американских евреев, известных ученых и т.д.

Я впервые на практике почувствовал, как много выиграл в чисто психологическом плане от того, что приобрел веру. Десятки раз она спасала меня от отчаяния и, отведя душу в молитве или уйдя в изучение Торы, я снова обретал приподнятое настроение и убежденность в конечном успехе. Гека еще больше меня был полон уверенности в нашем скором отъезде, а Фаню тревоги делали только сильнее. Хуже всех было моей бедной, многострадальной маме. Она совсем извелась от волнений, очень сдала и постарела.

В августе 1972 года советская власть ввела для отъезжающих выкуп за образование. Вначале трудно было получить четкую информацию о том, сколько будут взимать за каждый диплом, но было ясно, что со своими многочисленными дипломами я буду стоить очень дорого. Прикидки и оценки приводили к сумме, выражавшейся несколькими десятками тысяч рублей. Даже если бы я продолжал работать, как прежде, нам потребовалось бы не меньше пяти-десяти лет, чтобы скопить такую сумму, и то при условии, что мы не будем ни есть, ни пить. Я же был уже год безработным и ничего не зарабатывал. Кстати, жили мы все это время на деньги от продажи одежды, которую нам присылали в посылках из разных стран. Нотке, в частности, поручил заботу о нас нью-йоркской организации «Эзрас Ахим», посылки которой были особенно частыми и содержали вещи, которые можно было легко и выгодно сбыть.

Однако и это новое препятствие — выкуп за дипломы — в общем не поколебало нашей твердой уверенности, что мы обязательно и притом в самом скором будущем выберемся. Бывали, правда, дни, когда все казалось безнадежным, когда после очередного вызова в КГБ создавалось впечатление, что эти мытарства никогда не кончатся и что при следующем вызове мне уже не дадут оттуда выйти.

В один из таких дней, собравшись с духом, я пошел на почту звонить в Нью-Йорк Любавичскому Ребе. Я был почти убежден, что меня не соединят с Нью-Йорком, но не прошло и десяти минут, как мне ответили из секретариата Ребе. Я получил благословение Ребе и заверение, что мы скоро получим разрешение.

Пришли и миновали осенние праздники — последние наши праздники в Советском Союзе. Сразу после Симхат Тора мы получили разрешение. Лишь неделей раньше меня таскали в КГБ и запугивали, и вдруг — разрешение. Все было до обидного просто и буднично. Вызвали и объявили, предъявили счет за дипломы. Пока мы десятки лет ждали этого мгновения, казалось, что когда оно наступит — земля должна перестать вращаться, что будут греметь громы и молнии, что... Но ничего этого не было. Чиновница вызвала и сказала.

И теперь, спустя неполных четыре года, я с трудом вспоминаю подробности того, как это было: буднично, и оркестры не играли.

Очнувшись от радостного шока, мы стали изучать предъявленный нам счет. В сумме получалось больше тридцати одной тысячи рублей. Незачем говорить о том, что это во много раз превышало суммы денег, которые мы когда-либо держали в руках. Более того — это было далеко за пределами той максимальной суммы, которую мы способны были себе представить. Нашлись резонеры, пытавшиеся убеждать, что не следует пытаться раздобыть эту сумму, что надо ждать, протестовать и т.д. Наш телефон к этому времени снова заработал, и среди звонивших из-за границы тоже были советовавшие «бойкотировать» этот так называемый «налог на образование». Их советы представлялись мне совершенно нелепыми. Если бы советская власть горела желанием выслать всех евреев за пределы Советского Союза и вместе с тем требовала бы уплаты этого «налога», то можно было бы ей назло не ехать, а требовать отмены налога. Но при существовавшем тогда положении, когда люди годами добивались разрешения на выезд, советовать им отказаться в знак протеста от выезда было не только глупо, но по-моему также и гнусно.

Помимо всего прочего, для меня лично, когда я уже держал в руках заветное разрешение, открывающее дорогу в Священную землю, было ясно, что такая презренная вещь, как деньги, не может быть помехой к отъезду — пусть даже мне пришлось бы отрабатывать долги до конца дней своих.

В конечном счете все уладилось проще и быстрее, чем можно было ожидать. И в Риге, и в Грузии нашлись евреи с деньгами, которые доверяли мне, и они охотно одолжили нужную нам сумму. Уже через несколько дней я нес в банк тяжеленный пакет. Помню, что перед этим мне вместе со всеми членами семьи и Буби Цейтлиным, который, обожая всякие нетривиальные ситуации, специально пришел к нам, никак не удавалось пересчитать бессчетные банкноты. Никто из нас не имел опыта в счете денег.

Дальше все шло просто и радостно. Даже беготня по бесчисленным учреждениям и ожидание в очередях — не огорчали. Как забава воспринималось преодоление всяких бюрократических головоломок вроде тех, когда учреждение А не выдает необходимой бумажки X до того, как получит бумажку У, выданную учреждением Б. Учреждение же Б требует прежде бумажку X, выданную учреждением А и т.д.

Довольно много времени ушло на оформление разрешения на вывоз моей библиотеки. Пришлось уплатить стоимость всех старых книг, хотя это были мои книги. Кроме того, все книги (особенно старые еврейские фолианты) подверглись очень тщательной и многократной проверке, перелистыванию и перетряхиванию.

Еще через две недели мы сели в поезд, идущий в пограничный с Польшей город Брест. На вокзале собралось множество народу. Целые сутки накануне отъезда двери нашей квартиры не закрывались. Приходили попрощаться близкие, друзья и даже совсем незнакомые люди. У множества из них были поручения и просьбы, и я либо делал записи в блокноте, зашифровывая их, как умел, либо старался запомнить.

С синагогой я прощался еще до того — в последнюю субботу. «Киддуш» в этот день длился несколько часов. Меня напутствовали с такой сердечной теплотой, которую мне никогда не забыть, с радостью и слезами. Все желали друг другу последовать вскоре тем же путем.

Итак, поезд шел в Брест, приближаясь к той самой границе, которую я столько раз рисовал себе в мечтах и во снах. Перед пересечением границы предстояло еще одно, последнее соприкосновение с советской властью — проверка чемоданов. Все свои опубликованные и неопубликованные научные, философские и литературные рукописи, записи, картотеки и тому подобное я сжег перед отъездом, так как не видел никакого способа их вывезти, да и не хотелось возиться и тратить время на бумажки, которые на фоне огромной радости и значительности отъезда в Священную землю в большой мере утратили для меня свою ценность. Таким образом, в наших чемоданах не было ничего крамольного. Золота или бриллиантов у нас, разумеется, тоже не было.

Все же при обыске нашли запретное: несколько пачек старых писем, которые были мне дороги, и коробку семейных кино и магнитофонных лент. Все это приказали вернуть провожавшим нас и остававшимся в Советском Союзе родственникам.

Наконец, мы снова были в поезде. Еще немного и поезд медленно двинулся через границу. Мы все страшно устали от слишком длительного возбуждения, и потому это взлелеянное в мечтах мгновение промелькнуло бесцветно.

Потом была Польша. В Варшаве поезд стоял больше часа у какого-то пригородного перрона. Мне очень хотелось ступить, наконец, на несоветскую землю.

Кроме того, это ведь была та самая Польша, куда я так безуспешно стремился пятнадцать лет тому назад. Взяв Геку, я вышел на темный перрон. Затем мы обошли какие-то станционные склады. Все во мне пело и ликовало, но мысли были устремлены вперед, к пространственно все еще далекому, но теперь, наконец, достигаемому средиземноморскому берегу.

На следующий день мы прибыли в Вену, откуда нас повезли в загородный замок Шенау, где тогда располагался перевалочный лагерь Еврейского Агентства. По дороге нас сопровождали вооруженные автоматами австрийские полицейские, охраняя от арабских террористов. Переступив порог замка, мы услышали ивритскую речь, увидели висящие на стенах огромные фотографии с видами Израиля — и... нас начали душить слезы. Ни с чем не сравнимое ощущение пребывания среди своих, среди братьев переполняло такой радостью, которую бесполезно пытаться описывать словами.

Мы оставались в Шенау около полутора суток. Было коллективное пение и разучивание песен, лекции, фильмы. Были книги, журналы и газеты, изданные в Израиле на иврите и на русском. Неприятно поразило, как бездарно и безграмотно все, что издано на русском языке. Но у меня не было тогда ни времени, ни настроения для того, чтобы фиксировать внимание на таких обстоятельствах. Праздник встречи с Родиной довлел надо всем, а ведь он только начинался. Добрые и неутомимые ангелы — работники Еврейского Агентства (Сохнута) посадили нас на самолет израильской компании Эл-Ал. Было около часу ночи. Мы не смыкали глаз, пытаясь разглядеть хоть что-то в густой тьме за иллюминаторами. Наконец, объявили, что под нами израильский берег. Внизу из тьмы вырвались огни Тель-Авива, а еще через несколько минут самолет уже неся по посадочной дорожке. Все это произошло слишком быстро. Хотелось вернуть эти минуты назад, прожить их снова сосредоточенно, как в замедленном кинофильме, насладиться каждым кадром.

Но вот уже надо было выходить из самолета. Восток начинал заметно светлеть. Мы вышли на верхнюю площадку трапа. В лицо пахнул теплый влажный воздух южной ночи. Я глянул вниз и остановился, объятый тревогой и смущением. Внизу на расстоянии каких-нибудь двадцати ступенек лежала Израильская земля — та самая, которая была дана навеки Аврааму, Ицхаку и Якову, та самая, в которую вел евреев Моше-рабейну, та самая, на которой стояли Первый и Второй Храмы, та самая, о которой молились и плакали века и века... Готов ли я к встрече с этой землей?

Имею ли я нравственное право ступать по ней, топтать ее грубыми башмаками? Кто-то раздраженно подтолкнул меня сзади. Я затормозил все движение. Пришлось спуститься.

Сойдя на землю, я опустился на колени, нагнулся и поцеловал ее, однако, поймав на себе удивленные взгляды окружающих пассажиров, поспешил подняться. Все вокруг страшно торопились и, войдя в зал в здании аэропорта, ринулись к столикам, за которыми сидели чиновники Министерства абсорбции, боясь упустить лучшие места для поселения.

Я все еще старался осмыслить величие происходящего с нами, и поэтому само упоминание об устройстве, о каких-то житейских проблемах казалось мне возмутительно кощунственным. Однако мне так и не дали сосредоточиться. Оказалось, что нас пришли встречать не только мой брат и Нотке, но и депутат Кнессета от религиозной партии «Поалей Агудат Исраэл» Авраам Вердигер, несколько корреспондентов газет и радио. Авраам Вердигер был первым человеком, с которым я говорил, ступив на землю Израильскую. От страшного волнения у меня пересохло в горле настолько, что я совсем не мог говорить. Вердигер принес стаканы с соком, и постепенно ко мне вернулся дар речи.

У выхода из здания аэровокзала меня встречала большая группа хабадников-рижан и не рижан, представитель религиозного университета Бар-Илан и еще какие-то незнакомые мне люди. После поцелуев и объятий хабадники устроили тут же на тротуаре хасидские танцы, и мы пели и танцевали очень долго. Потом вся наша семья собралась у моей сестры в Ришон-ле-Цион. Была пятница, девятнадцатое число месяца Хешван 5733 года. Перед наступлением вечера мы поехали к Нотке в Лод, чтобы провести у него первую субботу на Священной земле.

Страшная усталость, поток впечатлений и ощущение невообразимой огромности свершившегося немного подавляли восторг, но все равно это был праздник — бесконечный, некончающийся праздник, в котором, быть может, самым преобладающим и впечатляющим было людское тепло, дружелюбие, приязнь. хабадники, которые танцевали, неся нас с сыном на руках, в старенькой, битком набитой синагоге в квартале ХАБАДа в Лоде, друзья и знакомые по России, чужие, казалось бы, люди на улицах, которые узнавали нас по фотографиям в газетах, писавших о нашем приезде, — все эти люди так неподдельно радовались нашему освобождению, так искренне старались чем-нибудь услужить, так по-родственному улыбались.

Очень скоро меня начали буквально разрывать на части приглашениями на всевозможные встречи, вечера, беседы. Пришлось привыкать не робеть перед незнакомой, иногда очень многочисленной аудиторией, пришлось учиться выступать на иврите, английском, идиш. Ни иврит, ни идиш я ведь никогда не изучал, если не считать (в отношении иврита) одного класса начальной школы и очень непродолжительных попыток самостоятельного изучения в студенческие годы в Ленинграде. Однако общение с хабадниками в Риге, изучение Торы и молитв принесли мне, между прочим, и этот подарок — два еврейских языка. В Израиле выяснилось, что я могу на них изъясняться вполне сносно.

Две категории слушателей заставляли меня все же робеть — верующие евреи и дети. Первые — потому, что я всегда ощущал их неизмеримое превосходство в Торе. Где было мне, пытающемуся восполнить все упущенное в детстве, тягаться с ними^ систематически учившимися в иешивах в их юношеские годы. Помню, как трудно было говорить, когда меня в первый раз привезли в Кфар-Хабад на Всеизраильскую конференцию любавичских хасидов. Они хотели слышать о еврейской жизни в России. Я стоял перед микрофоном, смотрел в огромный зал, набитый людьми с седыми бородами, в черных сюртуках, и вместе с огромной радостью меня одолевал страх. Кто я, чтобы выступать перед этими умудренными постоянным изучением Торы людьми? В конце концов я все же преодолел себя, начал говорить и, увидев сотни улыбок, глаза, источающие дружелюбие, успокоился.

Перед детьми же мне всегда было боязно говорить из-за сознания огромной ответственности и опасений, что не сумею быть достаточно убедительным, не сумею установить подлинный контакт с аудиторией.

Еще из впечатлений тех дней мне запомнилось первое посещение Иерусалима. Авраам Вердигер пригласил нас в Кнессет. Мы — все четверо — поехали туда вместе с братом и его женой. По дороге из Тель-Авива в Иерусалим я боялся упустить даже самую мелкую деталь в пейзаже по сторонам дороги. Вслед за не очень радующими глаз замусоренными, изуродованными свалками битых ржавых автомобилей окраинами Тель-Авива пошли ухоженные поля и огороды, орошаемые с помощью разбрызгивателей воды, аккуратные домики сельскохозяйственных поселений. Наконец, дорога, обсаженная эвкалиптами, вывела нас к долине Аялон, и на противоположном ее краю открылись взору чуть смазанные дымкой Иерусалимские горы, а еще через десять минут мы уже ехали среди этих гор.

Волнение мое нарастало с каждым мгновением. Казалось, мы едем слишком быстро и приближаемся к Иерусалиму в таком темпе, что мне никак не успеть собрать свои мысли, сосредоточиться, внутренне подготовиться к встрече со Святым Городом. И действительно, Иерусалим застал меня врасплох. Безучастный ко всему мотор втащил нас со скоростью восемьдесят километров в час на последний крутой и извилистый подъем, и я обнаружил себя в Иерусалиме. Я не видел, не воспринимал тогда ни особого, единственного в мире колорита иерусалимского солнца, помноженного на свое отражение от солнечного иерусалимского камня, не видел уютных манящих улочек, карабкающихся по склонам холмов. Я был подавлен, растерзан сознанием того, что я уже в Святом Городе и ничего не успел подготовить ему в дар, и в то же время слезы счастья и благодарности застилали мои глаза.

В то посещение Иерусалима главной моей заботой было как-нибудь случайно не оказаться возле Стены Плача, ибо эта встреча уж определенно требовала более основательной подготовки. Только недель позже — в день новомесячья Кислев я решился, наконец, поехать к Стене Плача...

Вначале я считал число своих поездок в Иерусалим, ибо каждая являла собою событие. Я досчитал до двенадцати, а дотом сбился. Однако долго еще я не мог привыкнуть к тому, что так просто можно сказать: «Я еду в Иерусалим», — и действительно сделать это.

Через несколько месяцев мы поехали в Америку, чтобы побывать у Ребе. Я еще не зарабатывал, но друзья-хабадники одолжили мне деньги на поездку.

С тех пор, как мы уехали из Советского Союза, я встречался и беседовал со многими знаменитыми людьми: с Залманом Шазаром, Голдой Меир, Ицхаком Рабиным, Моше Данном, Менахемом Бегиним, Эфраимом Кациром, Давидом Элеазаром, Игалем Алоном, Пинхасом Сапиром, Гидеоном Хаузнером, с американскими сенаторами Монделом и Джексонем, с мэром Нью-Йорка Линдсеем, со многими министрами, писателями, еврейскими и нееврейскими лидерами и общественными деятелями. О каждой из этих встреч можно было бы написать много интересного. Однако я это сделаю — если Б-г даст силы и возможность — в другой раз. Здесь же хочу рассказать о самой главной, самой важной и самой впечатляющей встрече — о встрече с человеком, стоящим на несоизмеримой со всеми другими высоте, — с Любавичским Ребе, великим человеком, Великим Евреем, наставником всего нынешнего поколения.

Я готовился к этой встрече и мечтал о ней долгие годы. Всячески пытался представить себе, как это будет. Я слышал об этом великом человеке много, очень много от хасидов, встречавшихся с ним и безгранично преданных ему. Не скрою, мера преданности, восхищения и преклонения перед Любавичским Ребе иногда смущала меня, и, невзирая на то, что к этому времени я уже достаточно глубоко проникся идеями ХАБАДа, упомянутое обстоятельство иногда тревожило меня, пробуждая отголоски давно преодоленного мною скептицизма. Поэтому, ожидая первой встречи с Ребе с таким волнением и нетерпением, я вместе с тем испытывал некоторое опасение, что встреча разочарует меня.

Я готовился к личному приему у Ребе по всем правилам — так, как хасид готовится к встрече со своим Ребе, духовным наставником, праведником, посредничающим между ним и Б-гом. Я постился весь этот день (встреча состоялась за полночь, и до нас — Фани, Геки и меня — Ребе успел принять уже человек пятьдесят), совершил омовение в микве и перепоясался молитвенным поясом. До этого личного приема мы уже успели присутствовать на «итваадут» (большое собрание хасидов, посвященное какой-либо знаменательной дате, празднику, новомесячью и т.д.). Таким образом я уже слышал, как Ребе говорит, обращаясь к нескольким тысячам хасидов, студентов иешив, гостей. Это было очень впечатляюще. Ребе говорил четыре-пять часов подряд, «Сихот» и «Маамарим» сменяли друг друга. Он говорил без запинки, не пользуясь никакими записями.

Забегая вперед, хочу упомянуть, что очень часто Ребе посвящает свои беседы анализу комментария РАШИ на Пятикнижие. В этом комментарии, который в течение столетий изучал каждый еврейский ребенок, Ребе находит совершенно новые грани, никем еще не открытые глубины, незамеченные откровения. Он показывает при этом, как непостижимо емко этот лаконичный комментарий, как педантично рассчитано место и вес каждой его буквы, каждого слова и, с другой стороны, как злободневно могут звучать многие места применительно к сегодняшней еврейской жизни. Доказательство какого-либо вывода длится час-два, иногда больше. Ребе скрупулезно анализирует и сопоставляет детали, подготавливает атаку на проблему с разных сторон, с ювелирной точностью нанизывает промежуточные результаты на основной стержень доказательства. Он оставляет на время одно направление мысли, переходит к другому, чтобы потом снова вернуться к первому. И вдруг следует окончательный вывод: ясный, сверкающий, неопровержимый и... неожиданный.

Непоколебимая логика рассуждений, предельная педантичность и систематичность в деталях объяснений и доказательств, абсолютная точность ссылок на различные места из океанов талмудической и хасидской литературы, цитируемых по памяти, недостижимые высоты кабалистических абстракций и осязаемая простота жизненных примеров и сравнений — вот только бледный перечень впечатлений от речей Ребе. И все это согрето такой любовью к евреям, к Торе, к Всевышнему, проникнуто такой внутренней эмоциональностью, что на сердце становится тепло и радостно, и после многих часов слушания — первая мысль о том, когда удастся послушать Ребе в следующий раз.

Во время коротких пауз все присутствующие соединялись в многотысячный хор, поющий хасидские мелодии. Ребе тоже пел, обменивался со слушателями традиционным пожеланием «лехаим». Атмосфера была очень торжественной, возвышенной и в то же время невероятно интимной и земной. Радостно видеть столько людей, единых в бескорыстной преданности высокой идее...

Итак, мы вошли в кабинет Ребе, и с первой минуты ощущение было такое, словно мы знакомы с ним многие годы и продолжаем разговор, начатый давным-давно. Я уже упомянул, что до нас Ребе принял человек пятьдесят, и время было полночь, однако на его лице не было видно и следа усталости, а внимание и интерес к нашим делам были такими, какие не всегда приходится ощущать даже со стороны ближайших родственников. Поражало, насколько Ребе осведомлен в политике, различных естественных науках, литературе, экономике, обстановке в Израиле и в России. Величие его в Торе общеизвестно, и потому воспринималось как само собою разумеющееся. Невероятным показалось, насколько Ребе знает и помнит о всех наших личных, семейных делах и обстоятельствах.

И, наконец, — его удивительные глаза. Голубые и чистые, они то пронизывают насквозь, объемлют собеседника вниманием и участием, которые буквально осязаются, то искрятся тысячами смешинок. А между этими крайними выражениями — еще несчетное число других, никогда, как кажется, не повторяющихся, но всегда похожих в одном — в них беспредельная посвященность собеседнику или слушателям.

Разумеется, мои опасения разочароваться рассеялись без следа. Я встречался с Ребе позднее еще много раз, слушал его многие часы. Он говорил и о вечных проблемах еврейства, и о событиях дня, и о труднейших философских проблемах, и о будничных заботах государств и личностей.

Каждый раз меня поражает, когда Ребе напоминает мне содержание наших предыдущих бесед, состоявшихся год, два или три тому назад. Часто оказывается, что я забыл даже саму тему или событие, а Ребе напоминает мне мельчайшие детали. Я уже упоминал, что встречался в течение последних лет со многими знаменитыми людьми — политиками, учеными, писателями. Я не видел, чтобы кто-либо из них мог так слушать, как Ребе, быть настолько причастным, отвлечься от всех других мыслей. Когда говоришь с этими людьми, всегда ощущаешь, что большая часть их внимания прикована к тому, что было перед нашей встречей, или к тому, что будет после нее, или что их гложут собственные заботы. Абсолютное большинство вообще могут понять собеседника только тогда, когда с ними говорят с их собственной позиции, в ключе их собственной психологии. Если же собеседник анализирует какую-либо проблему с позиции им незнакомой или для них неприемлемой, они просто перестают воспринимать собеседника, словно радиоприемник, который вдруг настроили на другую волну. Кроме того, всегда ощущается, как они взвешивают свои слова с точки зрения личных и партийных интересов, своего престижа и т.д. Что касается дачи совета или принятия решения, то они всегда стараются отложить ответ, оттянуть.

Ребе же понимает все с полуслова — о чем бы вы ни говорили и каковы бы ни были ваши позиции и взгляды. Он весь — олицетворенное присутствие и приходит к решению или дает совет мгновенно, ему не нужно с кем-то советоваться, и всегда ощущаешь, что совет этот или решение сообразованы только с желанием блага евреям в целом и собеседнику в частности, блага — в духовном и простом житейском смысле.

Каждый раз, когда мне доводится видеть и слышать, как Ребе мгновенно принимает решения, я невольно противопоставляю его всем другим людям, которых мне приходилось видеть в такие минуты, требовавшие принятия решений. Мне вспоминаются, с одной стороны, бесконечно оглядывающиеся на более высокое начальство советские функционеры, а с другой — израильские деятели, решимости которых обычно хватает лишь на то, чтобы в каждом сложном случае немедленно создать еще одну комиссию, которая, авось, разберется.

Советы Ребе иногда воспринимаются с трудом, бывает даже, что они кажутся с первого взгляда нелогичными, приходится бесполезно ломать голову над тем, чем бы этот совет мог быть рационалистически обоснован.

Но если хватает порядочности и силы воли последовать этому совету, так и не найдя рациональных соображений, стоящих за ним, то неизменно убеждаешься — иногда спустя месяцы или даже годы — как бесконечно правилен был совет и куда завело бы пренебрежение им.

Что придает Ребе эту удивительную силу провидения? Гениальность? Феноменальная память и аналитичность ума? Беспрерывные занятия Торой и отсутствие каких-либо личных, земных устремлений, что вместе определяет у евреев понятие о цади́ке? Неведомое нам Б-жественное откровение? Или, может, бесконечное доверие множества хасидов ставит Ребе в духовных мирах в особое положение посредника между Б-гом и людьми? Не берусь ответить. Быть может, все перечисленное вместе... Но, конечно, это нечто гораздо большее, чем даже самые исключительные человеческие способности. Как бы там ни было, Ребе, несомненно, единственный человек в мире, кому бы я без колебания вверил судьбу свою и своих близких.

О, если бы у нашей многострадальной страны был руководитель, обладающий такой любовью и интересом к людям, такой силой предвидения, такой решительностью и таким полным отсутствием личных интересов и соображений!

Поражает, что, беседуя с Ребе, никогда не чувствуешь себя подавленным его превосходством, огромностью личности собеседника. Ведь, казалось бы, разница между Ребе и собеседником так велика. Ребе владеет океанами Торы, их самыми тайными глубинами, собеседник же в большинстве случаев не более, чем пригостишка в Торе. Ребе знает и помнит все перипетии жизни собеседника лучше, чем он сам, и способен дать оптимальный совет и наставление на будущее.

Но главное — Ребе отдает все свои силы и все свое время без остатка еврейскому делу, у него нет ни выходных дней, ни отпусков, ни так называемых личных интересов. Собеседник же в лучшем случае жертвует на пользу ближних некую долю своего времени, сил и средств, но главным для него почти всегда остаются его карьера, его семья, его успех, его развлечения, его отдых. И несмотря на эту огромную разницу, которая, быть может, не всегда осознается, собеседник чувствует себя у Ребе легко и непринужденно.

Ребе проявляет глубокое уважение к мнению специалистов в той или иной конкретной области. Однако я знаю также десятки случаев, рассказанных мне самими участниками событий, показывающих, как в случае необходимости

Ребе высказывал мнение или давал совет, противоположный тому, что говорили специалисты, — будь то область политики или медицины, науки или педагогики, и оказывался прав, один против всех.

Не раз Ребе давал советы руководителям Израиля по жизненно важным вопросам. Беда лишь в том, что, большей частью руководимые предвзятыми мнениями или партийной дисциплиной, они не прислушивались к этим советам. Я сам присутствовал на «итваадут» за несколько дней до начала войны Йом-Кипур и слышал, как Ребе предупреждал о приближении этой войны и объяснял, какова должна быть реакция Израиля. Увы, и в тот страшный час совет его не был принят.

Много раз я слышал, как Ребе говорит о науке, о проблемах всеобъемлющего мировоззрения, основанного на Торе, и об осмыслении и интерпретации новых результатов естественных наук в свете этого мировоззрения. Ребе доказывает абсурдность попыток извлечь из науки какие-то поправки к Торе. Он, однако, никогда не отрицает науку, а лишь настаивает на том, что и она, как и все, что Б-г сотворил в этом мире, должна служить еврею в его стремлении к святости, к совершенству, к соединению с Б-гом и с Его Торой.

В приемной Ребе можно встретить евреев со всех пяти континентов — раввинов и торговцев, ремесленников и бизнесменов, писателей и политиков, профессоров и министров. И каждый день — десятки килограммов писем, тысячи просьб о совете и наставлении.

Много можно было бы рассказать о штаб-квартире, мировом центре ХАБАДа, что в доме 770 по Истерн Парквей в Бруклине. Сотни людей из всех уголков мира, тысячи хасидов, заселяющих прилегающие кварталы, студенты иешивы, «баалей тшува» заполняют большой и малый молитвенные залы, коридоры и лестницы. Кипучая жизнь не замирает здесь ни днем, ни ночью. Кто учит Тору, кто молится, кто беседует, кто пишет.

Кажущиеся суматоха и неразбериха удивляют новичка, но люди более опытные знают, что за этим скрывается четкий ритм жизни и деятельности. Главное же, что очень скоро начинаешь ощущать неповторимую атмосферу возвышенности, святости (но ни в коем случае не святошества), выделенности (но ни в коем случае не отрешенности от мира), которая царит здесь. Может быть, что-то подобное было в Храме, в древнем Иерусалиме. И как тогда паломники, приходившие из всех концов Израиля в Иерусалим, уносили с собой вдохновение и возвышенность души, так и посещающие «севен севенти»

(так хасиды называют это место по английскому звучанию адреса) увозят с собой решимость самоотверженно служить Всевышнему.

Одним из подлинных чудес нашего времени, новейшей еврейской истории является созданная Ребе и непрерывно усиливаемая и развиваемая им всемирная система просветительных учреждений ХАБАДа. Школы, йешивы, центры ХАБАДа, представители ХАБАДа в университетских городках — это настоящие форпосты, бастионы в войне против ассимиляции, за возвращение евреев к вере отцов. Эти бастионы разбросаны по всему земному шару, они есть почти всюду, где живут евреи: в Израиле и в Австралии, в Лондоне и в Майами-Бич, в Иоганнесбурге и в Милане, в Париже и в Филадельфии... В некоторых местах персонал этих учреждений довольно многочислен; в других — представлен единственным человеком, бесстрашно стоящим на своем посту — по поручению Ребе, во имя еврейской веры и будущего еврейских детей... Эти самоотверженные люди, в большинстве своем питомцы одной из центральных любавичских иешив, не получившие никакого секулярного образования, вращаются в самой гуще общества, знают всех и вся, начитанны и осведомлены в политике, в философии, в литературе, в бизнесе (все это, конечно, в дополнение к их познаниям в Торе). Они с одинаковой легкостью поддерживают салонный разговор, читают лекцию на еврейскую философскую тему, руководят уроком по Талмуду. Они героически несут на себе бремя огромных расходов, с которыми связано строительство и функционирование создаваемых ими учреждений. По шею в долгах, они вынуждены иногда растрачивать большую часть своего времени на добывание денег у разного рода бизнесменов. Однако они никогда не кланчат, никогда не теряют достоинства перед людьми, которые по образованности, интеллекту и нравственности стоят, нередко, на голову ниже их...

Через этих посланцев, как и через всех своих хасидов, Ребе творит великое дело наведения порядка и гармонии в еврейском мире, подверженном тысячам чуждых влияний, склонном к хаосу и упадку. Если воспользоваться физической аналогией, Ребе творит чудо уменьшения энтропии, вопреки естественному ходу событий. Эти посланцы Ребе, каждый из которых — незаурядная личность, но ограничивает собственные амбиции во имя служения идеалу, заслуживают преклонения. Быть может, еще большего преклонения заслуживают их семьи, не знающие ни отпусков, ни выходных дней, ни семейного уединения, ни просто передышки. Да пошлет вам Всевышний здоровье и силы, мои новые, но верные друзья — Ицхок Гронер, Авремл Шемтов, братья Липскеры, Файвуш Фогель, Носан Гурарий, Моше Феллер и многие, многие другие.

Не могу не упомянуть моего юного друга, еще только набирающего опыта, но бесконечно самоотверженного — Гиршла Окунева, руководящего нью-йоркской организацией ХАБАДа, ведающей еврейским образованием евреев, приезжающих из России в Америку, и оказывающей им всевозможную помощь.

Или другой пример — мэр поселения Кфар-Хабат в Израиле (он же — машинист тепловоза) Шломо Майданчик, состоящий в дружбе чуть ли не со всеми генералами израильской армии и входящий беспрепятственно — вся охрана знает его — во Дворец президента страны или в Министерство обороны. А как не упомянуть Цви Гринвальда — бывшего бойца ударных освободительных отрядов ЛЕХИ, а ныне учителя и, вероятно, лучшего оратора ХАБАДа в Израиле... А сколько можно было бы рассказать о самоотверженных и неутомимых секретарях и помощниках Ребе — Биньямине Клейне, Лейбеле Гронере, Юделе Кринском, раввине Ходокове!

Со времени Шестидневной войны Ребе начал проводить всемирные кампании во имя исполнения некоторых наиболее важных заповедей — надевания «тфиллин» мужчинами, зажигания субботних свечей женщинами, приучения детей к Торе, соблюдения кошерности, семейной чистоты, заповеди о мезузе...

И вот сейчас, в это смутное и тревожное для нашего народа время, когда весь мир против нас, тысячи и тысячи евреев в разных уголках мира волею Ребе, усилиями его последователей оказались приобщенными хотя бы к крупицам еврейского духа и еврейского образа жизни, и, если взглянуть на это с позиций универсальной взаимосвязанности всех евреев через посредство Всевышнего, вызывающего к существованию все и вся и соразмеряющего эманацию жизненной силы с мерой святости, достигнутой сотворенными, то становится очень понятным, почему почти каждую из своих речей Ребе заключает упоминанием Мошиаха.

Наша так называемая «абсорбция» в Израиле была необыкновенно гладкой и благополучной. Еще в аэропорту Лод я получил приглашение на работу в университет Бар-Илан. Чуть позже меня пригласили университеты Тель-Авива и Беер-Шевы, а также Хайфский Технион. В курсах иврита я не нуждался, и потому вопрос о работе надо было решать сразу. Было трудно выбрать. Беер-Шева особенно привлекала тем, что университет там был совсем молодым и быстро развивающимся, тем, что жизнь в Негеве, в центре пустыни сопряжена с какой-то толикой пионерства и, быть может, еще больше тем, что Беер-Шева — этот древне-молодой город — был глубоко связан в моем воображении с праотцем

Авраамом, с годами его жизни в Негевской пустыне. Однако из Тель-Авивского университета оказывали сильное давление, и я решил попробовать совместить работу в обоих университетах. И действительно, в течение года с лишним я состоял полным профессором как Тель-Авивского, так и Беер-Шевского университетов. Несколько позже американское морское ведомство предложило мне договор на научно-исследовательскую работу по магнитной гидродинамике, и надо было решить, где же строить свою лабораторию. Хотя до этого мы намеревались поселиться в Иерусалиме, где я провожу очень много времени в связи с общественной работой, о которой расскажу ниже, я окончательно выбрал Беер-Шеву, и мы переехали туда. Фаня начала работать врачом в местной больнице, а Гека пошел в йешиву в Беер-Шеве. Он с младенчества так сжился с мыслями об Израиле, что для него, конечно, пересадка на израильскую почву не была сопряжена ни с какой ломкой.

Что касается меня, то я чувствовал себя так, как если бы после вынужденного перерыва вернулся на привычное место. Я ощущал свою связь с этой землей через каждое из прошлых поколений, через громаду Торы гораздо крепче, чем некоторые израильтяне, у которых эта связь обусловлена только тем, что они здесь родились. Я ни разу не пожалел и о том, что выбрал Негев, Беер-Шеву. Напротив, только здесь я понял, что означает видеть, как твоя земля строится и хорошеет ото дня ко дню, и осознавать, что внес в это свою лепту.

Только моя бедная мама не могла приспособиться к новым условиям. Я так мечтал, чтобы Израиль принес и ей такое заслуженное после всей многострадальной жизни счастье и удовлетворение. Но увы, она приехала, когда ей было уже почти семьдесят пять; изучить иврит оказалось для нее невозможным, все привычное ей осталось далеко, и она, бедняжка, совсем, совсем сдала.

Очень скоро передо мною снова встала старая дилемма: воспользоваться предоставляющейся возможностью наслаждаться спокойной, устроенной и размеренной жизнью или искать чего-то большего. Действительно, я мог бы добросовестно работать в университете, учить студентов, вести исследования, публиковать статьи и книги и после всего этого иметь еще многие часы для отдыха, чтения, созерцания отрогов Иудейских гор, которые видны из нашего окна, или даже для разведения роз или винограда на родной земле (о последнем я ведь столько мечтал в Риге!).

Я не воспользовался этой возможностью. Ведь мне столько надо было сказать моим братьям-евреям, приносящим свое еврейство в жертву так называемой

цивилизации, так называемому прогрессу, всем современным и ультрасовременным идолам. Ведь кроме всего прочего, я, хоть и не был потомственным хабадником, имел некоторые права называть себя хотя бы приверженцем ХАБАДа. Понятие же хабадник и сытенькое благополучие несовместимы в моем представлении.

Наконец, еще одно обстоятельство повлияло на то, что я добровольно обрек себя на хроническое недосыпание, на жизнь в постоянном ощущении катастрофической нехватки времени, на то, что когда к нам в дом приходят гости — даже самые желанные и симпатичные — для меня это бедствие, ибо десятки дел, встреч, писем, статей, телефонных разговоров, которые были намечены на этот вечер, остаются незавершенными. Обстоятельство это вот какое. Еще в Лодзе молодой хабадник Бецалель Шиф, которого я знал по России, сказал мне о существовании в Израиле организации религиозной еврейской интеллигенции из России. Организация эта была создана по совету Любавичского Ребе, считавшего, что люди, боровшиеся в России за осуществление еврейского воспитания и образования, обязаны продолжить эту деятельность и после переселения в Израиль. Бецалель сказал мне также, что он, выбиваясь из сил, пытается руководить этой организацией, но у него не хватает опыта, и что меня просят возглавить ее. Я согласился значительно позже — после долгих размышлений и совещаний. Было ясно, что организация эта необходима не только для осуществления фундаментальной идеи ХАБАДа об еврейском воспитании и образовании, но и для успеха и продолжения эмиграции евреев России в Израиль. В самом деле, что заставляло еврея из Москвы или Кишинева, или Риги бросить насиженное место, друзей, устроенную жизнь, если не еврейское самосознание? Однако мера, в которой это самосознание просыпалось, была у многих столь малой, что ее хватало только на протест, на эмоциональный порыв. Для долгого же процесса интеграции на земле Израильской требовались более глубокие чувства и более основательные знания. Задачей этой организации как раз и было развить еврейские чувства и дать еврейские знания. Для этого предстояло найти и подготовить учителей и лекторов, создать серьезную, на академическом уровне литературу на еврейские темы на хорошем русском языке, заняться исследованием психологических и социологических аспектов приобщения русских евреев к своему народу. Все это (и еще многое другое) стало полем деятельности упомянутой организации, получившей позже название Союз религиозной интеллигенции «Шамир».

Неимоверные трудности приходится преодолевать «Шамиру». Тут и недостаток подходящих людей, и катастрофическое отсутствие средств, и нелепая необходимость снова и снова доказывать насущную необходимость той деятельности, которой «Шамир» занимается. Сейчас, правда, он уже признан правительством Израиля и Еврейским Агентством. «Шамир» осуществляет ныне такие труднейшие и поистине исторические работы, как издание первого русского перевода Пятикнижия Моисеева с комментариями РАШИ, РАМБАНа, Эвен-Эзры, книги Йегуды а-Леви «Кузари» и т.д.

Сотни людей приходят в «Шамир» и ко мне как к председателю. Многие просят литературу, консультацию на религиозно-философскую тему, но не меньшее число людей просят помощи в подыскании работы, в определении детей в подходящее учебное заведение, в получении денежных ссуд, в хлопотах о лучшей квартире, а случается даже, что отец просит найти жениха для дочери...

Мера моей занятости в «Шамире» становится все более неизмеримой. На мое счастье, в орбиту «Шамира» оказался включенным хороший человек — ныне мой близкий друг Питер Калмз из Лондона. С «Шамиром» Питера свел Ребе. Дед Питера приехал в Англию три четверти века тому назад тоже из России, и поэтому или по другим причинам Питер с некоторых пор начал очень интересоваться проблемами русского еврейства и симпатизировать ему. Он произвел на меня глубокое впечатление с первой же встречи. Я был тогда еще совсем «зеленым» в свободном мире, но уже успел составить себе впечатление о характерном типе еврейского бизнесмена-филантропа. В большинстве случаев благотворительность такого филантропа оказывалась направленной прежде всего на саморекламу, на «паблисити», а его невежество и нежелание понять то дело, на которое он иногда дает, а иногда не дает деньги, просто пугает.

К тому времени я успел уже побывать на нескольких вечерах в защиту советского еврейства, которые разыгрывались по неписанным правилам салонной игры. Все расшаркивались друг перед другом, обменивались комплиментами, упивались собою и самоутверждались, много и с аппетитом ели и пили, очаровательно улыбались и непрерывным потоком изрекали несусветный вздор.

Питер же являл собой полную противоположность этому стандарту. По-настоящему жил делом, которое его волновало, стремился вникнуть в каждую деталь, все понять. Он был готов включиться в самую черную работу, брать на себя всевозможные обязанности.

Его ум, хватка, сообразительность, интуиция в сочетании с необыкновенным педантизмом, обязательностью и чувством ответственности в большой мере способствовали успеху «Шамира», а для меня представляют неоценимую помощь.

С течением времени жизнь все больше и больше подтверждает важность того дела, которому служит «Шамир». По мере того, как возведенный в ранг чуда исход советского еврейства иссякает и чахнет, превращается в далекую от идеализма эмиграцию, оседающую на всех пяти континентах, становится очевидным, что без подлинного еврейского воспитания любое, даже самое грандиозное историческое начинание евреев обречено на неудачу. Увы, забвение истоков, привычка мыслить исключительно вещественными категориями делают эту простую истину недоступной для многих из тех, кто считают себя в настоящее время капитанами и рулевыми многострадального еврейского корабля.

Оправдал ли Израиль мои ожидания? В течение первых месяцев после приезда, даже, пожалуй, весь первый год, сам вопрос этот, который мне часто задавали, казался диким. Опьянение счастьем, ощущение невероятности случившегося, сон наяву — все это слишком слабые выражения для того, чтобы охарактеризовать то состояние, в котором я находился.

Нередко мне приходилось и в то время слышать высказывания о том, что партийные лидеры и функционеры готовы предать и продать все и вся ради карьеры, партийных интересов и политической выгоды. Слышал я и утверждения о том, что значительная часть населения враждебно относится ко всему традиционному, вековечно-еврейскому, или, наконец, рассказы об отвратительных примерах коррупции. Однако все это вызывало у меня лишь раздражение и полнейшее недоверие к собеседнику. Для меня существовала только святость и исключительность этой заветной обожаемой земли, и потому даже самая искренняя тревога по поводу того, что в ней происходит, звучала для меня злопыхательством. Счастливое опьянение это было столь сильно, что и сейчас, по истечении трех лет со времени нашего приезда, оно все еще дает себя чувствовать.

Однако уже довольно давно я стал видеть и осознавать то, что происходит вокруг, ощутил разницу между государством Израиль и землей Израиля, и сердце мое стало часто кровоточить. Труднее всего было примириться с тем, что высшим принципом общества считается и является секуляризм и социализм.

Причем не социализм пророка Амоса, а социализм (как говорится по-еврейски — «да будут они разделены тысячью разделений») Карла Маркса.

Опьянение социализмом иногда так сильно, что считается возможным жертвовать не рассуждая чем угодно для выполнения его догм. А если случается, что требования соблюсти принципы социализма входят в противоречие с внутренним еврейским голосом, то считается просто неприличным позволить последнему сказать свое слово.

По опыту, накопившемуся у меня за последнее время, я знаю, что вышенаписанное может вызвать бурю негодования у деятелей рабочих партий и аплодисменты у представителей «Херута». Поэтому я спешу пояснить, что «Херут» мне нисколько не симпатичнее рабочих партий, ибо, по моему убеждению, порочно само деление евреев на партии (я не имею в виду людей, входящих в эти партии, — они как индивидуумы, как евреи в большинстве случаев оказываются самыми милыми, симпатичными и благонамеренными людьми).

С другой стороны, я в полной мере отдаю дань уважения социалистам так называемого «поколения основателей» за их героизм, самоотверженность, за их удивительные достижения в строительстве и обороне страны.

Это, однако, совершенно не меняет того факта, что они трагически заблуждались в идеологии и, вероятно, не могли даже предположить, к каким последствиям приведет их мировоззрение спустя несколько десятков лет. Не раз приходилось мне убеждаться в трагичности самого факта существования партий и, еще больше того, что часть из них пользуется властью и возможностью решать жизненно важные для народа проблемы, руководствуясь своей идеологией и собственным разумением. Я увидел также, что нет нравственных преград и разумных границ в бесконечной вражде и борьбе между партиями. Знаменательно, что ивритское слово партия — «мифлага» происходит от корня «пилуг» — разделение, разрознение. Что же может быть трагичнее для нашего маленького, преследуемого народа, чем внутреннее разделение и раздор?

Между прочим, перед выборами в Кнессет несколько партий очень настойчиво предлагали мне войти в списки их кандидатов, предлагая такие порядковые номера в этих списках, которые почти гарантировали избрание.

Само собою разумеется, что мне казалось диким солидаризироваться с какой-то частью евреев, одновременно противопоставив себя остальным, и я, конечно, отказался.

Но еще гораздо больше и глубже тревожит меня катастрофическая утрата народом еврейского облика, еврейского мировоззрения, извечных принципов и понятий, ощущения родства, близости и взаимосвязи всех евреев, некогда общеизвестной еврейской утонченности души и мысли. Связь с прошлым, преемственность поколений утрачена.

Машина секулярного, социалистически-атеистически-космополитического воспитания безжалостно перемалывает те зерна еврейского, которые чудодейственным образом все еще сохраняются и воспроизводятся в душах еврейских детей. Эта система воспитания выросла из воззрений еврейско-немецких и восточноевропейских просветителей — «маскилим», которые лет сто пятьдесят-двести тому назад начали свой чудовищный эксперимент подмены сокровищ еврейского духа «общечеловеческой культурой». Позже эта система впитала в себя элементы российского социализма, «обогатилась» перлами американской дидактической мысли в духе вседозволенности и неограниченной свободы личности и, усвоив все это эклектическое варево, парадоксально обернулась самым банальным» антисемитизмом, воюющим не против еврейской крови в жилах, но против еврейской души и еврейского сердца.

Трудно вообразить себе, что может быть страшнее, чем видеть, как потомки тех, кто больше трех тысяч лет были носителями и хранителями света, святости, справедливости и мудрости человечества, превращаются в эдакий ханаанский народец, у которого языческий культ тела, наслаждений и преуспевания не очень стыдливо прикрыт фиговым листком игры в «прогресс» и «служение общечеловеческим идеалам».

Нестерпимую боль вызывало у меня созерцание толпы где-нибудь на улице Алленби в Тель-Авиве, где среди полуобнаженных девиц, размалеванных старух и длинноволосых самцов так трудно заметить лицо еврея, еврейское выражение глаз. Немыслимо было смотреть на экран телевизора, с которого юнцы и девчонки бесстыдно доказывали, что они израильтяне, ханаанейцы, но никак не евреи. Страшно видеть, как на Священной земле выставляются в газетных киосках и на рекламных стендах кино истерзанное, увеличенное, расчлененное, превращенное в мясо, представленное так, чтобы вызывать хищный аппетит, женское тело.

Самое ценное из утраченного — даже не еврейская интеллектуальная утонченность, не вековая жажда познания и не вековая тоска. Самое ценное, что было всегда в евреях и чего становится все меньше в Израиле — это ощущение предела дозволенного, чувство границы греха. Еврей всегда стремился отдалиться от запретного, безнравственного, порочного, старался блюсти чистоту своих дел и мыслей, святость семьи, общины. «Ведь ты еврей!», «Мы же евреи!» — эти слова всегда ставили на место заблудшего, движимого искушением, объясняли больше, чем иная лекция о морали.

Тяжко видеть, как это бесценное достояние улетучивается, хотя справедливости ради надо отметить, что еще очень часто случается видеть силу Б-жественных заповедей, продолжающих жить в душах многих из тех, чей рассудок тщится отречься от них.

Страшно, когда слышишь, читаешь в газете об убийстве, совершенном евреем, о проститутках-еврейках, об изнасиловании, о сожительстве отцов с дочерьми, о случаях грабежа и воровства, о забастовках, губящих стонущее под военным бременем хозяйство. Однако все это можно отнести на счет меньшинства, подонков общества, поэтому еще страшнее, когда слышишь или наблюдаешь события, с первого взгляда гораздо менее вопиющие. Так, например, в сентябре 1975 года на центральной автобусной станции Тель-Авива какой-то подросток напал на мужчину, несшего портфель, в котором находились восемнадцать тысяч лир банкнотами. Подростка тут же задержали, но портфель раскрылся, и ветер разнес банкноты. Когда их собрали, выяснилось, что десять тысяч исчезли в карманах прохожих. Иными словами, многие десятки случайных прохожих оказались ворами. Сто лет тому назад в каком-нибудь местечке в черте оседлости такое не могло бы произойти.

Бесконечно грустно делается на душе, когда студент, один из тех, кто только что вернулся с Йом-Кипурской войны, говорит: «Я читал в книжках об еврейском веселье, о радости и красоте субботы, но хотя я родился в Израиле, мне ни разу не довелось самому пережить это. Я не из тех, кто ходит в ночные клубы, и все мои развлечения — это телевизор в будни, а в субботу — снова телевизор».

Или наблюдения совсем иного рода. Когда в кинотеатрах идут фильмы, где два часа целиком и в деталях изображаются голые тела, половые отправления и изощренные извращения, в зале яблоку негде упасть. Когда же шел фильм о Януше Корчаке, максимальное количество проданных на сеанс билетов составляло двадцать. Слезы бессильного отчаяния начинают душить, когда слышишь, что по совету заморских дидактиков-шизофреников в школах

вводится курс полового воспитания, где мальчикам и девочкам объясняют технику полового акта и демонстрируют соответствующие кинофильмы, или когда видишь, как четырнадцатилетняя девочка отправляется на свидание и предварительно глотает противозачаточную пиллюлю, а родители относятся к этому снисходительно-понимающе, и им вообще невдомек, что во всем этом можно найти что-либо предосудительное. О Г-споди, на это смотреть даже страшнее, чем на изуверства арабских убийц. Ведь от врагов нельзя ждать хорошего. Когда же мы сами во имя торжества чуждых и безумных теорий и в угоду собственной распущенности калечим чистые и святые души наших детей, вырываем из них с корнем еврейскую духовность, хранимые веками скромность и целомудрие — это, вероятно, самая низкая, самая презренная ступень, на которую нам волею Твоею суждено было пасть за грехи наши...

Будучи в России, мы читали, конечно, о всяких реформаторских движениях в иудаизме, но все это воспринималось совершенно абстрактно и не имело никакого осязаемого жизненного смысла. Теперь мне пришлось лицом к лицу встретиться с этими извращениями от иудаизма, пришлось познакомиться с людьми — бритыми, с непокрытой головой, поедающими свиную колбасу, разъезжающими в субботу на «кадиллаке» и при всем этом бесстыдно называющими себя раввинами. Мне пришлось видеть — правда, не в натуре, а в документальной киноленте, обряд венчания, совершаемый совместно «раввином» и священником.

Когда я думаю обо всех этих реформистских, консервативных, прогрессивных и невесть еще каких движениях, мне приходят на ум бесчисленные доводы, основанные на Торе, на историческом опыте, на философии, на логике и на здравом смысле, показывающие абсурдность всех этих горе-новшеств. Прежде всего, нет никакого логического основания называть эти течения религией. Ведь поскольку они считают, что Галаха (еврейский закон) может быть любым образом изменяема по усмотрению людей, то в их «учении» не остается места Б-гу. А как же можно называть религией то, в чем для Б-га не осталось места. Пусть бы назывались культурным движением, клубом что ли.

Но, быть может, самый простой и убедительный довод я услышал недавно из уст одного инженера — скромного и разумного человека. Кто-то спросил его, почему он не ходит по субботам в расположенный рядом с его домом «храм» консерватистов. Инженер без раздумий ответил: «Я когда-то немного читал «Книгу о науке» РАМБАМа. Он пишет, что еврейский закон, изменять нельзя. Знаете, для меня РАМБАМ — достаточный авторитет...».

Казалось бы, он ничего особенного не сказал, но какая огромная, бесхитростная правда в словах этого человека! О, если бы каждый из нас почувствовал, что РАМБАМ — достаточный авторитет», если бы все мы жили в трезвом осознании реальных соотношений величин в этом мире...

Я должен упомянуть здесь также о движении «Мизрахи». С тяжелым сердцем и с насилием над собой делаю я это. Я бесконечно далек от мысли сравнивать «Мизрахи» с реформизмом, но беда в том, что, как я убедился (не сразу и не с легкостью!), это движение, ничего из традиции не отменившее, а только несколько поменявшее представление о важности тех или иных заповедей и о границах запретного в поведении, тоже часто ведет к отпадению от еврейства. Я совершенно не касаюсь здесь безобразных политических интриг в партии «Мизрахи» и имею в виду лишь идеологию ее создателей. Они полагали, что путем некоторых послаблений сумеют привлечь свободомыслящую молодежь. Они считали, что строят «мост» между верующими и неверующими, но, увы, жизнь показала, что по этому мосту чаще уходят, чем приходят. Жизнь опровергла утверждение о том, что «не беда, что молодежь не кладет тфиллин — зато они кладут кирпичи на строительстве домов в Израиле».

Быть может, самое трагичное в нынешней эпохе не то, что толпа, включая самую кичливую интеллигенцию, объята тотальным атеизмом и скептицизмом, а то, что среди людей, считающих себя верующими и соблюдающих заповеди, так мало действительно обладающих простой верой, полагающихся на Б-га. Рационализм и скептицизм все больше вторгаются в круги, считающие себя ортодоксальными. Эти люди веруют в некоего абстрактного Б-га, Б-га вселенной или истории, но утратили свою личную связь с Б-гом, не принимают возможность того, что Б-г направляет каждое малейшее движение в мире. Эта вера «на половину» или даже «на четверть» имеет различные проявления. Такой человек видит в мезузе проявление красивой традиции, но не признает и не ощущает, что мезуза охраняет еврейский дом не только в переносном, но и в прямом смысле. Такой человек, говоря о своих планах на будущее, не добавляет «им ирце Гашем» («если того захочет Б-г»), ибо ему кажется неприличным в наше просвещенное время проявлять свою веру так «примитивно», а кроме того, он просто не чувствует, что осуществление его планов зависит от Б-га. Если же этот человек политический деятель и речь идет, например, о недопустимости возвращения арабам территорий, освобожденных Израилем во время Шестидневной войны, то ему и в голову не придет в качестве обоснования и объяснения своей позиции в споре с евреями или неевреями сослаться прежде всего на то, что по воле Б-га эти земли даны нам и не могут не быть нашими.

Когда юноша не чувствует постоянного присутствия Б-га, не ощущает, что Высшая Сила наблюдает за его поведением, когда ему внушают, что не все заповеди, и уж тем более не все обычаи одинаково строго обязательны, а слова Торы сплошь и рядом позволительно понимать иносказательно, то очень скоро этот юноша начинает приходить в синагогу в коротеньких штанишках, ермолка на его голове уменьшается до размеров пяточка, тонущего в длинных по плеч волосах. «Талит катан» превращается в нечто похожее на младенческий слюнявчик, а затем исчезает и вовсе. Вскоре он начнет танцевать с девушками, а потом ему становится скучно с девушкой, с которой он знаком уже целых три дня, а она все еще не пустила его в постель... Увы, то, что сказано выше, — не теория, а самые что ни на есть жизненные наблюдения. Тора компромиссов не терпит и не прощает! И самое рискованное — превращать Тору из основы жизни в обособленный ее раздел. Прежде чем закончить с этой темой, я должен, однако, еще и еще раз оговориться, что все сказанное отнюдь не надо расценивать, как стремление запятнать членов «Мизрахи». Я встречал среди них очень много отличных ребят — честных, бесконечно преданных еврейству, самоотверженных. Выше речь шла об идеологических принципах и о связанных с ними тенденциях и опасностях.

Когда я писал о ранящих душу проявлениях чуждых влияний, об эрозии еврейской нравственности, о трагических заблуждениях, я отнюдь не имел в виду очернить свой народ, а хотел лишь обратить внимание на грозящие нам опасности. Поэтому мне отрадно подчеркнуть, что, наперекор всему, можно привести десятки других наблюдений, убеждающих в неуничтожимое? еврейской души.

Здесь, в сегодняшнем Израиле чуть ли не каждый день встречаешь удивительных людей, полных готовности совершить что-либо самоотверженное и стесняющихся проявить эту вышедшую из моды готовность. И не раз и не два видишь, как в критические моменты или в минуты радости выбивается наружу уходящее корнями в тысячелетия истории светлое еврейское начало, и окружающие тебя люди делаются такими близкими и дорогими.

А разве можно оценить по достоинству чувство радостного удивления, которое переполняет вдруг сердце и душу по самому, казалось бы, ничтожному поводу — когда случайный попутчик в автобусе вдруг улыбнется открытой, радостной улыбкой и скажет «Шалом», или мимо пройдет стайка первоклассников с непосильно тяжелыми портфелями в руках — школьники, как школьники, но глаза их такие миндалевидно-еврейские; или даже когда навстречу по улице

движется ватага длинноволосых парней — во рту жвачка, брюки расклешены — ни дать, ни взять самая залихватская российская шпана, и хочется по привычке сжаться, собраться внутренне для предстоящей обороны, но вдруг один из них обращается к тебе, но не с оскорблением, а с вежливым вопросом — как попасть на такую-то улицу, и в глазах его гаснет суперменовское высокомерие, а из-под всего наносного выступает родной взгляд твоего сына...

В такие мгновения все кричит, все ликует внутри, и бьет в литавры удивление и торжество — вы все мои, близкие, не совсем или совсем не такие, какими хотелось бы видеть вас, — да наставит вас Б-г на путь истинный, — но это мой народ, я свой здесь, слышите, свой, причастный, соучаствующий, и никто из них никогда не посмотрит на меня как на чужеродного. Чиновник, к которому я обращаюсь, будь он даже самый отъявленный бюрократ (хотя, честное слово, я таких не встречал), никогда не подумает обо мне: «А ведь он — жид».

И земля эта наша, общая, вечная, заповеданная, связанная с нами, с каждым из нас через великое таинство Торы, хотя и не многие понимают и чувствуют это...

Нет надобности говорить, что каким бы обидным ни было все то скверное и наносное, о чем я писал выше, мое отношение к этой земле и мое стремление к ней, когда я бываю в других странах, остались такими же благоговейными, как пять или десять лет тому назад. Я много ездил в течение последних лет, побывал на всех пяти континентах, и каждый раз на чужбине я еще сильнее ощущаю, как мне недостает родной земли, ее природы, полной прелести и напряжения, словно специально созданной, чтобы быть фоном событий космического значения, и ее бесконечно родных людей.

Но не удивительно и что на фоне этих чувств еще сильнее терзает душу, когда читаешь в газетах или видишь собственными глазами проявления чудовищной деградации нравов — ночные клубы, проституцию, убийства на почве сведения счетов в преступном мире, цинизм и развращенность пятнадцатилетних мальчиков и девочек, уроки по половому воспитанию в школах, враждебность к искони еврейскому, святому, традиционному... и сверх всего этого — казалось бы независимые от деградации нравов, но на самом деле глубоко с нею связанные и из нее проистекающие явления упадка и развала государственной политики и экономики. Воспитание, психология, впитанные с детства понятия и критерии — вот что в первую очередь определяет образ действий человека, будь он мелким ремесленником или министром.

И потому, когда толпа негодует по поводу беспомощности правительства, единственный совет, который можно дать людям толпы, гласит: «Оглянитесь на себя, эти министры являют точное отображение вашего собственного облика, и будь они даже семи пядей во лбу, им не выйти за рамки вашей убогой вседозволяющей нигилистической веры. У вас строго блюдетсЯ демократия, и вы получаете правительство, которого заслуживаете, похожее на вас самих...».

А моим друзьям из религиозно-национальной партии (подумать только, какой парадокс в соединении этих двух слов «религия» и «партия», — ведь если уж на то пошло, все мы до единого одна партия, партия Моше-рабейну) мне хочется кричать: «Как можете вы называть эту трагедию деградации всего еврейского — началом мессианского освобождения?! Будем любить и беречь эту землю и этот народ, будем стараться приблизить пришествие Мошиаха, но не надо одурманивать себя, называя тьму светом!»

И когда думаешь обо всем этом, хочется выйти на улицу, схватить за руку первых встречных прохожих и исступленно кричать им в уши: «Братья мои, очнитесь! Разве вы еще не убедились, что ваш эксперимент атеистического Израиля провалился? Разве вы еще недостаточно ощутили на себе, что в этой земле можно жить только по Торе, иначе она — эта земля — изрыгнет нас? Неужели вам мало войн и страданий? Неужели вам все еще чудится, что Маркс приведет вас к благоденствию? Или что искусная дипломатия убедит мир умерить антисемитизм? Ведь не приемля Святую Тору, вы и сами не очень твердо верите в то, что эта земля наша, искони, навеки и безапелляционно, наша — от реки Египетской и до реки Евфрат!

Поймите же, наконец, что не дано нам силой оружия принести мир Священной земле. Как не дано врагам нашим силой оружия отнять ее у нас. Вопрос решается совсем в другом аспекте и в другой инстанции. И звучит этот вопрос так: заслужили ли мы нашим поведением спокойную жизнь на нашей земле, достойны ли мы ее? Ради наших детей остановим же наконец жалкую игру в утонченность, прикрывающую служение позаимствованному на разных чужбинах язычеству. Тот, кто три с лишним тысячи лет тому назад предложил нам выбор между проклятьем и благословением, все еще терпеливо ждет и отечески наставляет: выберите жизнь!

Так выберем же жизнь, вверим нашу судьбу Ему, очистим наш дом от всего чужеродного и наносного, от вражды и грубости, откроем доступ доброму и святому в души наших детей!

Слишком долго была наша молодежь, несущая на себе всю тяжесть войн, ограбляема, лишена простых и мудрых человеческих радостей: еврейской субботы, еврейских праздников, еврейских будней. Вспомните, как выглядит наша земля в тот единственный день в году, в который пока еще почти никто не решается отгородить еврея от Б-га — в Йом-Кипур. (Я не имею в виду тот Йом-Кипур, когда на нас напали и началась эта страшная война.)

Люди становятся внимательными и чуткими к домашним, добреют, незнакомые приветствуют друг друга на улице, что-то незримое, давно забытое нисходит на людей, и они вдруг ощущают свою причастность друг к другу, причастность к еврейскому народу и той Высшей Силе, которая выделила его из всех народов... Не мчатся машины, управляемые водителями, опьяненными ощущением своей силы, помноженной на число лошадиных сил мотора... Воздух тих, чист и напоен запахами земли, которые в обычные дни заглушены пылью и гарью.

О, если бы мы все научились проводить так каждую субботу! Какой подарок это был бы нашим детям, которым сейчас предоставлены в лучшем случае телевизор и порнографическое кино, а в худшем — ночные клубы и дискотеки! И ведь недаром сказали наши Мудрецы: «Избавление придет, когда весь Израиль соблюдет, как полагается, две субботы подряд... Только две субботы!»

Так кричал бы я в уши моих братьев, так умолял бы и увещевал бы их... И почти так я кричу, умоляю и увещаю их на тех бесчисленных встречах, лекциях, беседах, которыми вот уже три года заняты почти все мои вечера, а часто и дни. Я краду время у моей науки, у моей семьи, я мчусь в Тель-Авив, в Ашдод, в Хайфу, в Иерусалим, в Димону, катастрофически засыпаю за рулем, встречаюсь со студентами, школьниками, профессорами, солдатами, офицерами, кибуцниками. Иногда мне приходится в один и тот же день выступать в трех разных городах, а в промежутке провести еще несколько часов в моей лаборатории магнитной гидродинамики в Беершевском университете, прочесть лекцию студентам по курсу турбулентности, выполнить всевозможные обязанности, связанные с десятком разных общественных должностей...

А телефон все звонит, и поступают все новые просьбы и заявки. Каждый раз я твердо решаю, что следующую просьбу о лекции отклоню, и каждый раз у меня не хватает духа сделать это. Как не поддаться искушению еще раз попробовать переубедить этих людей — моих братьев, по недомыслию обкрадывающих себя, своих детей, живущих так, словно и не было никогда ни Баал Шем-Това, ни АРИ, словно вовсе и не писал своих книг РАМБАМ и не публиковал своих комментариев РАШИ, словно и не было великих таннаев, ни рабби Акивы, ни

рабби Шимона бар Иохая, как будто не наставлял нас никогда Моше-рабейну и будто не мы получили от Б-га Тору.

Хасидизм научил меня видеть глубинную взаимосвязь явлений. Освободившись, наконец, от убогих рамок рационального и детерминистического мышления, я не только могу честно сказать, что понимаю, но также глубоко ощущаю единство этого мира в Б-ге, аннигиляцию в Его Бесконечном Свете всех бесчисленных различий между вещами и явлениями. Мне понятно взаимосоответствие этих вещей и явлений в мире со словами и буквами Торы и их тотальная взаимосвязанность через посредство Воли Творца. А это дает ключ к объяснению того, почему исполнение заповедей и жизнь Израиля согласно законам Торы может в противостоянии нееврейскому миру оказаться в самом буквальном смысле более сильным оружием, чем сверхсовременные танки и самолеты. Как сказал недавно Любавичский Ребе в одной из своих речей, наш народ всегда был и остается доныне овцой, окруженной семидесятью волками. Однако эта овца может противостоять волкам до тех пор, пока она полагается на Б-га больше, чем на любые материальные средства обороны (важность которых никто, конечно, не отрицает), и поэтому Б-г охраняет ее. Нынешняя же трагедия состоит в том, что овечка возомнила себя волком, не нуждающимся в Б-жественном покровительстве, и не отдает себе отчета в том, что даже если ей удастся стать волком, то это опять же будет только один волк против семидесяти...

Нелегко объяснить это пропитанным материализмом слушателям, но я пытаюсь коснуться в беседах и этой темы.

Время мое натянуто, как тетива лука. Малейшая непредвиденная задержка, перерасход получаса рушат программу на целую неделю. Увы, окружающие часто не могут понять напряженности моего расписания и обижаются, когда я не в состоянии уделить им достаточно времени.

Как я уже упоминал, почти не проходит дня, чтобы мне не пришлось проехать сто, двести, а то и триста километров, и хотя эти поездки отнимают время, много времени, которого так не хватает, и хотя иногда из-за безграничной усталости мне трудно вести автомобиль, поездки эти — огромная радость. Если бы мне удалось вдруг каким-то чудом освободиться от всех своих бесчисленных занятий, я предпочел бы не ездить, а ходить по этой земле пешком, ощущать под ногами ее камни, вдыхать запахи гор, садов и пустынь, говорить с ее людьми, постигать ее душу.

Но даже проносясь по задымленным автомобилями дорогам, я чувствую общение с моей, с нашей землей, и с каждым днем за скромностью внешнего облика ее раскрываются все новые красоты и все новые глубины одухотворенности, и я люблю ее больше и больше.

Я люблю ее даже в самые нестерпимо знойные дни лета, когда в долинах воздух густ и липок, и там, где есть зелень, все запахи убиты жарой, а там, где зелени нет, господствует острый запах пересушенной пыли, и лишь на холмах и в горах в предвечерние часы чуть ослабевшее солнце допускает в свои владения ветер, несущий с собой неведомо где сумевшую укрыться и выжить прохладу.

Я люблю ее в полыхающие молниями дни зимних дождей, когда улицы городов превращаются в непреодолимые потоки и даже самые южные, самые упорно безжизненные «вади» вздуваются от обилия безумствующей, пересыщенной глиной воды.

Я люблю ее еще больше в благословенные недели весны, когда на просторах возделанных холмов под ветром играют всеми оттенками зеленого уже возмужавшие злаки, когда подвенечной белизной цветения одевается миндаль, когда в горах неприметно цветет сосна, а под нею из каждой расщелины, меж каждых двух камней, умытых только что утихшими дождями, тянутся к солнцу застенчиво потупившиеся розовые альпийские фиалки, огненные анемоны, синие царственные ирисы. Ничто не нарушает прохладно-торжественного великолепия лесистых склонов, лишь изредка загрохочет катящийся вниз камень, потревоженный осторожными копытами оленя, прошуршит ящерица или заявит о себе, соперничающий яркостью с цветами, угод или горная курочка. А в то же время в долинах, на обочинах дорог и даже на замусоренных задворках домов соревнуются в буйстве травы, пересыпанные желтыми цветами календулы и веселыми вездесущими ромашками.

Я люблю города моей земли — беспорядочные, безликие, но мои, и когда ночью я приближаюсь к ним, и под бездонным небом, под непривычно для северянина наклоненной лунной появляются мерцающие, переливающиеся огни, мне кажется, что город зовет меня, приглашает: «Я твой, по-настоящему твой, войди в меня».

Считается, что само слово «пустыня» наводит уныние. Я не могу ничего сказать о других пустынях, но Иудейская пустыня, Негев и Синай — для меня средоточие радости и несказанной красоты.

Можно было бы без конца писать о не боящихся суховеев зеленых тамарисках, о том, как сказочно великолепны скалы и холмы этих пустынь, о причудливой игре отбрасываемых ими теней, об изобилии красок — от светло-желтых до темно-фиолетовых — оттенки которых беспрерывно меняются в соответствии с движением солнца по небосклону. Можно было бы петь оды Негеву в феврале, когда холмы его, засеянные пшеницей и ячменем, одеваются всеми оттенками зеленого, и диву даешься, как бескрайна на вид эта маленькая по законам землемерия страна.

Но еще более волнует то, что все эти картины воспринимаются, если можно так сказать, — четырехмерно. К воспринимаемому глазом трехмерному облику присоединяется развертывающаяся во времени перспектива истории. За негевскими холмами глаз ищет шатер праотца Авраама, и мысленному взору рисуется облик этого исполина, который обрел свое величие в самоотрешении, в полном подчинении своей воли слову Творца.

Во влажных пещерах Эйн-Геди или на склонах гор Хеврона, среди разлегшихся на террасах их склонов виноградников и застывших в судорожном экстазе стволов масличных деревьев, ждешь поминутно, с замиранием сердца встречи с царем Давидом — юным, бесстрашным, и пылким, и восторженным в своей любви к Б-гу, воспетому в его Псалмах...

И мнится, что ходят в своих нарядных одеждах священники-козны по Храмовой горе, и чудится, что моавитянка, всем сердцем принявшая Тору — Руфь — осторожно ступает по золотому, прокаленному солнцем жнивью и собирает колосья...

Где взять мне слова, чтобы писать о тебе, Иерусалим! Каждый раз, когда возбужденный от сознания приближения к святыне делаешь последний поворот, и глаза вдруг ослепляет вызолоченное солнцем сияние иерусалимского камня, хочется помедлить и проверить себя еще раз: готов ли ты к встрече с центром мироздания, с осью времени истории Вселенной.

А просьбы о встречах, запросы о лекциях и беседах все поступают и поступают. Звонит телефон, приходят письма, открытки... Студенты, школьники, женские организации, родительские советы, новые иммигранты... И я все не решаюсь сказать «нет». Сколько раз бывало, когда я уже совсем готов был произнести это слово, перед моим мысленным взором всплывали воспоминания о недалеком прошлом, и мне слышался все тот же вопрос: «Если бы пять или десять лет назад там, в России, тебя спросили, согласишься ли ты после того, как попадешь в

Израиль, пойти читать лекцию о значении Торы для евреев 20-го века, при условии, что для этого тебе потребуется проехать сто километров после четырнадцатичасового рабочего дня?» И я, конечно, соглашаюсь, и я, конечно, еду за сто, двести, триста километров — неважно, сколько.

Я откладываю самые срочные деловые встречи и еду, еду потому, что знаю — Нотке и любой настоящий хасид поехал бы. Еду потому, что мне кажется важным о столь многом сказать моим братьям, растерявшим на разных перекрестках мира свою веру, свою философию, свою самобытность, превратившихся, как кто-то мне однажды сказал, из народа Книги — в народ телевидения. Я еду, несмотря на то, что знаю — из аудитории в сто или двести человек моя беседа повлияет, быть может, — если мне очень повезет — на одного слушателя. Все будут внимательно слушать, многие будут даже соглашаться, может быть, даже аплодировать, будут задавать вопросы, но только этот один по-настоящему задумается над услышанным, сочтет это лично его касающимся и придет к каким-то практическим выводам и решениям. А если мне не повезет, то не найдется и этого одного...

Но ведь наши мудрецы учат: спасти одну душу — это все равно, что спасти целый мир. И кто знает — ведь капля камень точит... По этому поводу в ХАБАДе говорят: «Дело человека — создавать, удастся ли ему создать — это уже дело Б-жье».

К этому относится также следующая притча. Один старый и уважаемый раввин встретил в канун Судного дня пожилого еврея, не соблюдавшего заповедей. Раввин завел с ним беседу о Торе и стал убеждать его поститься в наступающий Судный день. Они беседовали и спорили два часа. Прежде, чем расстаться, раввин спросил: «Так вы будете завтра поститься?» — «Нет, — ответил тот. — Я не делал этого ни разу в жизни, и я уже слишком стар, чтобы менять свои привычки». Ученики раввина, которые с нетерпением и раздражением ждали конца этого, казавшегося им совершенно бессмысленным спора, спросили: «Учитель, разве есть смысл в том, чтобы в канун этого великого дня потратить столько времени на бесполезные увещевания этого старого глупца и грешника, вместо того, чтобы предаваться возвышенным делам и покаянию?» — «Вы ошибаетесь, дети мои, — гласил ответ, — я не сомневаюсь, что этот человек вспомнит перед тем, как отойти в другой мир, нашу беседу и скажет в сердце своем: «Напрасно я тогда не послушался и не постился». Покаянная же мысль еврея, право, стоит двух часов времени даже самого занятого человека».

Очень о многом мне кажется нужным рассказать своим слушателям. Обо всем, через что я прошел в поисках своего мировоззрения, обо всем, что передумал за все эти годы. Я пытаюсь прежде всего разбить их привычку думать, что «в наше время нельзя быть верующим». Я пытаюсь получить ответ на вопрос: «Почему твой дед был верующим евреем, изучал Тору и соблюдал заповеди, а ты — нет. Может быть, ты узнал что-то принципиально новое, что оправдывает твой отход от традиции дедов и прадедов, что ставит тебя выше их?»

Разумного ответа на этот вопрос никогда не бывает. Говорят: «Дед не знал электричества», «Не смотрел телевизор». Как-то мне даже сказали: «Дед не знал ватерклозета».

Тогда я пытаюсь выяснить, какова, по их мнению, связь электрической лампочки или телевизора с возможностью объяснить сущность и назначение вещей, понять сотворение мира, найти смысл жизни человека и определить правила его поведения и взаимоотношений с другими людьми.

В ответ почти всегда слышатся голословные утверждения, что человек, дескать, изменился, стал совершеннее и утонченнее, и что сама жизнь совсем другая— изменились, мол, структура и идеалы общества, силы, движущие им, изменились мотивы поступков индивидуума и система критериев, которыми он руководствуется.

И тут мне приходится доказывать моим слушателям, что нет никакого оправдания этим утверждениям, что никакое развитие наук, никакая технология не в состоянии сделать человека духовно и нравственно более совершенным, не в состоянии изменить существа и смысла жизни человека, повлиять на факторы, определяющие меру его счастья и удовлетворенности, изменить его страсти, чувства, его побуждения. В нравственно-этической сфере жизни человека и общества ни столетия, ни тысячелетия ничего не меняют.

Достаточно наугад открыть любую из книг ТАНАХа, полистать любой из трактатов Мишны, чтобы убедиться, что и две тысячи, и три тысячи лет тому назад люди так же, как сегодня, рождались и умирали, растили детей, любили и ненавидели, радовались и страдали, завидовали и сочувствовали друг другу. И судьба человеческая была так же полна превратностей и случайностей и так же неисповедима. Что бывали люди жадные и люди щедрые, эгоисты и альтруисты, что люди ценили дружбу и доверие и страдали от измены и подозрительности. На словах ценили праведность, честность и прямоту, а на

деле лгали, жульничали и лицемерили. Те же пороки и те же искушения. Так же, как сегодня, честолюбие, прихоти, страсть к наживе одиночек ввергали в мучения целые народы. Недаром сказал царь Соломон: «Ничто не ново под солнцем». Человек не стал благороднее от того, что сменил осла или лошадь на роскошный автомобиль. Его душа, его запросы, возможность быть счастливым не изменились и от замены свечи электрической лампочкой, а книги — кинематографом. Напротив, все технические новшества, как это теперь общеизвестно, разрушают природу и калечат души...

Что же касается утонченности и духовного совершенства, то достаточно упомянуть, что, например, в черте оседлости в России не было еврея, которые не знал, как ответить на фундаментальные философские вопросы о сущности духа и материи, о назначении человека, о происхождении мира, а сегодня профессора университетов умудряются существовать вообще без мировоззрения. И даже утверждения о том, что современные люди стали профессионально совершеннее — тоже миф. Древнему специалисту по стали достаточно было взглянуть на меч или пощупать его руками, чтобы определить дефекты технологии, а сегодняшние металлурги, вооруженные до зубов спектрометрией, ультразвуковой дефектоскопией и т.д., иногда годами бьются над устранением неудач. Нынешние врачи со всей их электронной и прочей аппаратурой, по всеобщему признанию, разучились думать, утратили интуицию...

Иначе говоря, если научно-технический прогресс не имеет никакого влияния на то, что действительно важно и ценно для нас, — на наши черты характера, на нашу способность любить и ненавидеть, на ощущения совести, на понятие долга, то почему мы убеждены, что 20-й век требует от нас отвергать религию?

Лучшей иллюстрацией того, что прогресс наук не совершенствует человека, служат космические полеты, особенно полеты на Луну. Тридцать лет назад, будучи детьми, мы до опьянения зачитывались научно-фантастическими романами, описывающими похождения человека в космосе. Мы вместе с авторами были убеждены, что это грандиозное свершение изменит все и вся на земле. У нас просто дух захватывало от предвкушения этого радостного будущего. И вот теперь человек побывал на Луне, и не один даже раз, а на земле не только не убавилось несправедливости, кровопролития и голода, но и о факте самих полетов все давным-давно забыли.

Дальнейший довод слушателей, старый и избитый, что научные результаты отвергают Тору.

И, конечно же, я рассказываю им и объясняю во всех деталях, насколько абсурдно в принципе предположить, что наука, исследующая взаимную связь явлений в материальном мире, может быть сопоставлена или противопоставлена религии, трактующей о сфере духа, нравственности, этике и также дающей наиболее общие и всеобъемлющие ответы о творении, сущности, взаимосвязи и назначении вещей в мире и самого мира.

Бесконечное число раз приходится отвечать на вопрос о днях творения. Всем страшно хочется понимать эти дни как периоды в миллионы лет. При этом никто не обращает внимания на то, что само сотворение Б-гом мира относительно гораздо большее чудо, чем то, что творение было совершено за шесть дней.

В одной из своих бесед я пытался объяснить слушателям сущность понятия «праведник» в нашей вере. Я говорил о том, как жизнь по Торе, пренебрежение личным и телесным, постоянное изучение и проникновение в самые сокровенные тайники Торы и возвышенная молитва ставят такого еврея в особое положение над миром, превращают его в посредника между Б-гом и Израилем, открывают ему невидимое рядовому еврею. Слушатели, считавшие себя страшно интеллигентными и современными, восприняли все это весьма кисло, а один человек даже подошел ко мне после беседы и высказал свое удивление по поводу того, что я — человек науки, естествоиспытатель (так он охарактеризовал меня) морочу слушателей наивными сказками. В следующий раз, когда мне пришлось беседовать на подобную тему перед подобной аудиторией, я решил проделать вот какой психологический эксперимент. Я снова говорил о сверхъестественном даре цадиков (праведников), но на сей раз облек свою беседу в наукообразную форму. Я употреблял не только такие термины, как «парапсихология», «телепатия», но и разглагольствовал о каких-то «мыслительно-энергетических полях», о пространствах с большим, чем три, числом измерений, писал на доске какие-то дифференциальные уравнения. Все, что я говорил, было абсолютной чушью, набором наукоподобных слов. Однако надо было видеть, как воодушевлены были слушатели, сколько вопросов они мне задали...

Получается, что они не веруют не в силу идеологических причин, не в результате разумного анализа, не потому, что все продумали и во всем разобрались, а просто по привычке. Любопытно и печально, что истерзанные темпом и напряжением современного образа жизни, одинокие в кишачем людском муравейнике, преследуемые разными страхами, эти люди с такой легкостью попадают на удочку продавцов всяческого дешевого товара наподобие йоги,

трансцендентальной медитации и т. п. современных форм язычества и колдовства. Зазывали этих культов всячески подчеркивают, что для того, чтобы приобщиться к ним, не надо никаких интеллектуальных задатков, никакого напряжения, никакого самоограничения. Все просто и доступно. И еще они сдабривают свой товар наукообразными ссылками на физику, квантовую механику и т. п. Это уж действует совсем гипнотически, и люди клюют на удочку, и никому невдомек, что еврею, который вставал затемно и учил дневной урок Торы, потом надевал «филлин» и молился, а затем трудился шестнадцать часов в день и растил не меньше десяти детей, не нужно было ни йоги, ни медитации, т. к. никаких стрессов у него не было.

Я объясняю своим слушателям, почему необходимо вернуться к Торе и заповедям, чего они лишают себя, оставаясь инертными и посторонними по отношению к вечным ценностям еврейства.

Эта необходимость возвращения может быть прослежена, по крайней мере, в трех планах. Первый — сугубо личный, индивидуальный. У верующего есть строгий распорядок жизни, у него ясные цели, он знает, где искать ответы на волнующие его вопросы. Его мировоззрение цельно, и потому у него гораздо больше шансов на достижение внутренней гармонии и покоя. У него есть на кого положиться и откуда черпать уверенность в будущем. Вполне вероятно, что ему удастся воспитать в том же духе своих детей, и тогда дети будут уважать и ценить его, а сами будут надежно защищены от таких свирепствующих в современном мире пороков, как наркотики, извращения, насилие...

Пользуясь сравнением Нотке, можно сказать, что религия, вера, ощущение постоянного присутствия Б-га, наблюдающего за каждым шагом человека, — это самый надежный защитный механизм юноши. Как автомобиль невозможен без тормозов, так человек без этого защитного механизма неизбежно становится жертвой своего собственного начала зла, влекущего его по пути похоти и страстей...

И, наконец, еще один важный момент, касающийся личного счастья. Сколько бы ни старался еврей ассимилироваться, сколько бы ни рядился в чужие наряды, ему не избавиться от своей принадлежности к еврейству (если, конечно, он не переступил последней грани — физической ассимиляции, от которой многих евреев удерживает какое-то врожденное чувство). Раньше или позже наступает момент, когда недруги напоминают ему о том, что он еврей. Это — эмпирический факт. И тогда, не обладая ничем из сокровищницы еврейского духа, не видя причин гордиться своей принадлежностью к еврейству и не ведая,

в чем его миссия в этом мире, он воспринимает свое еврейство, как вековечное преследующее его проклятие, от которого невозможно избавиться. И тогда жизнь этого бегущего от самого себя еврея становится действительно адом. И ему невдомек, что обокрали его, лишили идеала и путеводной нити в жизни его собственные родители — те, которые из ложно понятой любви к своим детям старались в поте лица приобщить их к «общечеловеческой культуре», дать «интеллигентную специальность», вывести из «местечкового еврейского мира» в «большой мир».

Всевышний сказал евреям слова, записанные в Торе: «Я даю вам благословение и проклятие, жизнь и смерть — и да выберете жизнь!» Каждому еврею приходится делать этот выбор, и вдвойне горе тому, кто навязывает свой ошибочный выбор детям и внукам.

Второй план — национальный. Мы стали народом совершенно иным путем, чем все другие народы. Превращение группы людей в народ обычно было результатом того, что они долго жили вместе, имели свою территорию, создавали хозяйство, систему общественных отношений. Мы же стали народом, когда на пятидесятый день после исхода из Египта, стоя у подножия горы Синай приняли на себя власть Торы, сказав «наасе ве нишма» — «мы будем исполнять и слушать». С самого начала нас объединяло учение, вера, а все остальное было производным, второстепенным. Парадоксально, что для наших врагов и недоброжелателей мы — самый расчетливый народ. Истина же состоит в том, что мы родились как нация иррациональным путем, и вся наша последующая история сугубо иррациональна. И потому неудивительно, что марксисты не соглашаются признать нас народом. Они по-своему последовательны. Действительно, те, кто втиснули сознание в прокрустово ложе примитивного рационализма, никак не могут понять еврейский народ, и даже признать его существование они не могут — он просто выше возможностей их постижения.

Итак, еврейский народ возник благодаря и во имя принятия им Торы и поэтому, естественно, может существовать только в связи с Торой. Для того, кто понял и признал эту простую истину, дальнейшие объяснения излишни.

Поскольку, однако, большинство из нас настолько приучены к скептицизму и рациональному мышлению, что только то, что хоть как-то преломляется в сфере рациональной мысли, нам понятно, оказывается необходимым приводить объяснения, основанные на истории и национальном опыте.

Известно, что еврейский народ потерял на протяжении своей истории в результате ассимиляции больше сынов, чем он потерял во всех погромах, включая чудовищные периоды истребления во времена древнего Рима, инквизиции, Богдана Хмельницкого, Гитлера. Ассимилировались те, кто оставлял Тору. Статистика показывает, что семье, оставившей Тору, заповеди, традиции, удастся избежать физической ассимиляции максимум до четвертого, а в редких случаях до пятого поколения (причем эти данные относятся в равной степени как к странам рассеяния, так и к Израилю). Впрочем, большинство даже самых крайних атеистов согласны, что религия была главным или даже единственным фактором, сохранившим наш народ в течение тысячелетий.

Однако они убеждены, что ныне что-то изменилось и этот фактор можно выбросить на свалку. При этом, кроме доводов, которых мы уже касались выше (о том, что наше время, дескать, особенное), они ссылаются на факт существования Израиля. Но они забывают, что а) в самом Израиле для отошедших от традиции опасность ассимиляции, может быть, даже больше, чем в других странах, где враждебность окружения несколько сдерживает ассимиляцию; б) невозможно убедительно обосновать наше право на эту землю иначе, как тем, что она заповедана Б-гом Аврааму, Ицхаку и Якову навеки (факт, который хорошо известен любому христианину и мусульманину); в) если бы не Тора и не заповеди, мы, даже сохранившись до сего дня, просто не знали бы о том, что у нас была когда-то земля на Ближнем Востоке, а если бы и узнали из истории и археологии, то и подумать не могли бы, что это может иметь какое-то отношение к нам сегодня. Если нужны еще эмпирические доказательства важности и неизбежности возвращения к Торе и после создания Израиля, то можно обратить внимание на то, что слова Пятикнижия «народ, пребывающий в одиночестве» еще никогда так убедительно не подтверждались историей, как именно после провозглашения Израиля.

И в заключение еще следующее соображение. Большинство людей ныне страхуют свою жизнь. Это вовсе не значит, что они собираются умирать, напротив, каждый надеется на долгую и счастливую жизнь. Так вот, не пора ли подумать о страховании жизни в национальном плане. Мы все верим и надеемся, что государство создано навеки. Однако, как серьезные люди, мы обязаны подумать и о наихудшем варианте. И если мы это сделаем, то тут же обнаружим, что если бы молодое поколение, выросшее в Израиле, оказалось бы — не дай Б-г — вынужденным уйти в рассеяние, положение их в смысле устойчивости к ассимиляции было бы в тысячу раз хуже, чем положение тех

поколений, с которых началось последнее рассеяние. Ведь нынешняя молодежь из нетрадиционных семей просто гола и безоружна перед чуждыми влияниями, и не поколения, а считанные годы потребовались бы для ее абсолютной ассимиляции...

И, наконец, третий план — философский. Но ведь об этом вся моя книга «Из глубин», и потому я не стану здесь развивать эту тему. Лишь упомяну главный вывод, а именно, что в Торе — единственно возможное непротиворечивое объяснение сущности мира, его происхождения и существования, а также сущности и назначения еврейского народа, в то время как сущность, назначение и происхождение всех вещей накрепко закрыты для рационалистического разума, способного познавать лишь свойства и явления. Эти категории сообщаются человеку в Торе — Торе правды, открывающей старающемуся постичь ее самое высшее знание, которым может обладать человек. Примет и признает человек это знание — зависит от него, но даже если человек его отвергнет, оно не перестанет быть истиной.

Еврей может верить или не верить, принять Тору или не принять ее — это единственная степень свободы, которой он действительно обладает. То, какой выбор делает еврей, определяет его судьбу, но решения ему никто не навязывает. Однако во всем остальном, кроме этого свободного выбора, действует универсальная и ненарушаемая предопределенность — непосредственное проявление воли всепроникающего присутствия Б-га.

Нравится это определенному человеку или не нравится, не влияет, конечно, на саму истину, и «бунт» этого человека имеет еще меньшее значение, чем если бы кто-либо начал бунтовать против закона силы тяжести и в знак пренебрежения им выбросился бы в окно или стал бы протестовать против необходимости дышать и, в знак протеста, засунул голову в нейлоновый мешок.

И вот еще что мне приходится часто добавлять ко всем предыдущим доводам. Учением Торы нельзя проникнуться, холодно рассуждая о нем и анализируя его. Ощутить радость и счастье жизни по Торе нельзя, оставаясь сторонним наблюдателем. Тору надо вкушать. Тору нельзя воспринять одним только разумом — необходимо приобщить и сердце, и душу, и интуицию. Нужно войти в мир Торы, пожить не день и не два по его законам, и тогда сползет многолетняя короста с души, откроются тайные, чуткие рецепторы, и долго спавшее, забытое «я» возликует: «Да, это искони мое, еврейское, родное — то, к чему я призван и что никогда меня не предаст...».

На этом совете, право же, можно оборвать так сильно растянувшееся повествование. Но мне хочется добавить еще выражение моей бесконечной благодарности Всевышнему за то, что в этом мире, полном лжи и иллюзий, Он дал мне вкусить правды и насладиться хотя бы небольшой мерой познания Его и Его Святых заповедей. Я бесконечно счастлив, что, пройдя через множество заблуждений, теперь могу с чистой совестью и с полным убеждением повторить за великим РАМБАМом:

1. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) творит все создания и правит ими, что Он Сам производил, производит и будет производить все создания.
2. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) един и единственен, что нет единства, подобного Его единству, ни в каком отношении и что только Он был, есть и будет Властелином нашим.
3. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) бестелесен, что Он недоступен постигающим телесные категории и что Он совершенно недоступен никакому воображению.
4. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) суть первый и последний.
5. Верю полной верою, что исключительно Создателю (благословенно Имя Его!) подобает молиться и что никому, кроме Него, не подобает молиться.
6. Верю полной верою, что все речения пророков истинны.
7. Верю полной верою, что пророчество Моше, наставника нашего (да пребудет он в мире!), было истинным и что он был отцом пророков как предшествовавших, так и следовавших за ним.
8. Верю полной верою, что вся Тора, которой мы ныне обладаем, суть та, которая была дана Моше, наставнику нашему (да пребудет он в мире!).
9. Верю полной верою, что эта Тора не будет заменена и что Создатель (благословенно Имя Его!) не даст другой Торы.
10. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) ведает все дела сынов человеческих и все мысли их, как сказано: «...Тот, который создает сердца всех их и знает все дела их».
11. Верю полной верою, что Создатель (благословенно Имя Его!) награждает добром соблюдающих заповеди Его и карает преступающих заповеди Его.

12. Верю полной верою в пришествие Мошиаха и, хотя он медлит, я все же каждый день буду ждать его прихода.

13. Верю полной верою, что будет воскресение мертвых в то время, когда будет на то воля Создателя (благословенно Имя Его!), и да будем помнить постоянно о Его власти над нами во веки веков!

Безр-Шева, 5737 год от сотворения мира (1976 год по нееврейскому летосчислению).

Источник: <https://moshiach.ru/books/avtors/26885.html>